



НЕ ЗАБЫВАЙ
МЕНЯ, ЛЮБИМЫЙ!

АНАСТАСИЯ
ТУМАНОВА

любовные тайны

Цыганская сага

Анастасия Туманова

Не забывай меня, любимый!

«ЭКСМО»

2012

Туманова А.

Не забывай меня, любимый! / А. Туманова — «Эксмо»,
2012 — (Цыганская сага)

ISBN 978-5-699-55329-7

Юная цыганка Дина и грузинский князь Зураб Дадешкелиани полюбили друг друга. Она не может признаться, что стала невенчаной женой князя – законы в таборе суровые. Он тоже не может представить Дину родным – они никогда не признают этот неравный брак. Их первая ночь была последней – Первая мировая в самом разгаре, Зураб уезжает на фронт, и вскоре приходит страшное известие – он погиб. Как жить Дине? Сердце подсказывает ей, что любимый жив, он не может умереть, не может оставить ее одну...

ISBN 978-5-699-55329-7

© Туманова А., 2012

© Эксмо, 2012

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	47
-----------------------------------	----

Анастасия Туманова

Не забывай меня, любимый!

Тёплым майским вечером 1917 года в трактире станицы Черномызской Ростовской губернии шла крупная карточная игра. Весь большой зал трактира был забит офицерами полка Второй Конной дивизии, который накануне расположился возле станицы. В окна просовывались чубатые казачьи головы, никто давно не пил и не ел, и сам хозяин, бросив ценные бутылки с местным вином без присмотра, бродил вокруг сгрудившейся у стола толпы, безуспешно пытаясь заглянуть поверх голов.

Игра шла уже несколько часов. За длинным некрашеным, в пятнах от пролитого вина столом сражались двое. Штабс-капитан Авалов, первый картёжник батареи, невысокий загорелый человек, казался невозмутимым, хотя проигрывал уже второй час. Его противник, цыган лет тридцати, чёрный, как жук, с острыми «голодными» скулами, покрытыми густой щетиной, играл успешно. Возле него на столе уже лежали смятые ассигнации, пятисотрублевый романовский билет, золотая цепочка с медальоном и часы Авалова, и узкие, сощуренные глаза цыгана блестели из-под падающих на лоб волос запальной искрой.

У дверей трактира, сидя на грязных, затоптанных половицах, ожидали двое. Один был парнишка лет семнадцати, в линялой голубой рубахе, взъерошенный, смуглый до черноты. Он озабоченно поглядывал на сгрудившихся около стола офицеров и казаков, вытягивал длинную шею, стараясь хоть что-то рассмотреть, но это ему не удавалось. Несколько раз парень порывисто вскакивал, намереваясь подойти ближе, но сидящая рядом молодая цыганка удерживала его за руку.

Девушка, в отличие от парня, казалась совершенно безмятежной; её большеротое, забавное, очень живое, коричневое от загара и природной смуглости личико усиленно выражало скуку и усталость, но из-под мохнатых ресниц то и дело вымётывался острый, пронзительный взгляд.

– Да со ёв кэрэла, авэла, чеинэ тэ лэс ловэ да уджас!...¹ – не выдержал, приподнимаясь, мальчишка.

– Бэш, бэш...² – сердитым шёпотом осадил его цыганка. Несколько лиц повернулись к ним. Девчонка тут же снова скроила безразличную гримасу, ленивым движением смахнула выбежавшую из-под платка на лоб струйку пота и, поднявшись, отправилась во двор, где привязанные к коновязям стояли лошади.

Цыганский табор пришёл в Черномызскую на следующий день после того, как в ней расположился полк, – к дикому восторгу военных, начиная от полковника и кончая последним денщиком. В таборе оказалось несколько молодых девчонок, готовых за небольшую плату спеть и сплясать для господ офицеров; цыганки постарше, в вылинявших кофтах и цветастых юбках, обвешанные крикливой детворой, шныряли по домам, предлагая погадать. Их услугами охотно пользовались: шёл третий год войны, которая изрядно всем надоела, было интересно, когда же наконец кончится это мучение, а поскольку от начальства вразумительных объяснений не поступало давным-давно, то уставшим солдатам годились и цыганские обещания скорого конца «всей этой глупости с немчурой». Мужчины же цыгане не отходили от лошадей полка, любовно подобранных по гнедой и рыжей масти, сильных, сытых, успевших отдохнуть от долгого перехода. Цыгане неуверенно предлагали менять скакунов, но солдаты со смехом отказывались: менять было не на что. Цыгане возвращались с ярмарки в Новочеркасске, где успешно продали всех мало-мальски годных лошадей, и теперь единственным на весь табор

¹ Да что он делает, нужно брать деньги и уходить!..

² Сиди, сиди...

пристойным конём оставался высокий чубарый жеребец невероятной красоты, принадлежавший Митьке по прозвищу Мардо.

Сам Митька сейчас сидел за столом трактира напротив штабс-капитана Авалова с веером мятых карт в руках, и весь офицерский состав, сгрудившийся вокруг, не спускал глаз с рук цыгана: его везучесть казалась подозрительной, да и испорченная шрамами физиономия была абсолютно разбойничья. Но Мардо, похоже, играл честно.

– Авалов, остановитесь, – наклонившись к штабс-капитану, тихо сказал молодой ротмистр. – Успокойтесь, это безумие. Вспомните, что с вами было в Житомире, повторяется та же история... Придите в себя, ещё не поздно закончить... Посмотрите на его морду, это же бандит! Нашли с кем садиться играть, право!..

– Стадницкий, подите прочь, – без всякого выражения ответил штабс-капитан. – Первый раз в жизни вижу цыгана, понимающего в серьёзной игре, не лишайте меня удовольствия.

И в этот миг Мардо выложил каре из королей. Зрители взвыли, казаки заорали от восхищения, мальчишка-цыган и цыганка у дверей обнялись.

– Всё, барин, или ещё изволите? – с величайшим почтением осведомился Мардо, подгребая к себе ворох ассигнаций.

– Боюсь, брат, что на этот раз всё, – сухо, ничем не показывая своего разочарования, проговорил Авалов. Ротмистр Стадницкий облегчённо вздохнул... и тут же отвернулся с досадой, пробормотав: «Идиот...»: штабс-капитан снял с пояса револьвер.

– Впрочем, нет. Ещё раз, на все! Ставлю оружие!

– Авалов, вы с ума сошли! – взорвался Стадницкий. – Господа, да уймите же его, он этому чёрту через полчаса проиграет батарейные орудия и пойдёт под трибунал!

– Револьвер мой собственный, – не поворачивая головы, процедил Авалов. – А если вы, ротмистр, ещё раз позволите себе вмешаться в мою игру, я сделаю из него последний выстрел. Догадайтесь, в чью голову.

– Болван... – сердито произнёс ротмистр и отошёл в сторону.

Цыган обнажил в усмешке острые белые зубы, как мог, погасил бешеный огонь в глазах и начал сдавать.

– Успокойтесь, Стадницкий, – сочувственно сказал обиженному ротмистру светловолосый казачий сотник. – Вот увидите сейчас феномен собственными глазами: игра переломится. На моей памяти Авалов ставит этот свой револьвер шестой раз, он у него вроде талисмана, и...

– Поверьте, сотник, мне наплевать, – сухо ответил Стадницкий, достал портсигар и вышел на улицу.

Сотник между тем оказался прав: после того, как револьвер штабс-капитана лёг на стол, придавив денежные билеты, везти цыгану перестало. Довольная ухмылка пропала с его испорченного, нечистого лица, густые брови съехались на переносице в одну сплошную линию. Молодая цыганка, давно вернувшаяся в трактир, подойдя вплотную к столу (офицеры с улыбками расступились, пропуская её), наблюдала за тем, как деньги и золото перекочёвывают обратно к Авалову. Она молчала, но её блестящие, чёрные, как переспелая вишня, глаза не моргая смотрели на летающие над столом карты. Мальчишка подошёл тоже и несколько раз робко заговаривал с Мардо на своём языке, но тот отмахивался от парня как от мухи и продолжал игру, глядя на карты так, словно собирался прожечь их глазами.

– Ну вот, брат, и всё, – спокойно произнёс штабс-капитан, когда на стол трактира лёг широкий луч закатного солнца, и, аккуратно разложив по карманам деньги, поднялся из-за стола. – Спасибо за игру, ты действительно молодец. И везло тебе долго, надо было вовремя остановиться. Стадницкий, где вы там? Обижены? Ну, простите, мой милый, я во время игры утрачиваю здравый смысл, не сердитесь.

– Много чести – сердиться на вас, – буркнул Стадницкий. Офицеры пожали друг другу руки, вокруг засмеялись, заговорили... и в это время цыган, опрокинув табуретку, вскочил из-за стола.

– Ваша милость, ради бога! Ещё раз! Ради Христа, ещё раз! Один раз только!

– Боже, тебе так понравился мой револьвер? – рассмеялся Авалов. – Изволь, один раз можно, но что поставишь? Как я вижу, ты пуст...

– Пуст, барин, пуст, не слушайте его! – тревожно забормотал мальчишка, заглядывая в лицо Авалова. – Пустой, как торба рваная, идите себе с богом, с удачей вас...

– Не лезь, – тихо, с угрозой велел Мардо.

– Морэ, со кэрэса, пошун ман...³

– Джя яври, умарава! Дылыно!⁴ – зарычал сквозь зубы Мардо. Цыганка с силой дёрнула мальчишку за рукав, и тот неохотно отошёл к порогу.

– Садитесь назад, ваша милость, я коня ставлю!

– Что? Своего чубарого? – Авалов, не сводя недоверчивых глаз с лица цыгана, медленно уселся за стол. – Изволь, только смотри, обратно потом не отдам.

– Небось и не попрошу, – хрипло буркнул Мардо, хватая колоду и лихорадочно перетасовывая карты. – Цыганское слово крепкое, выиграете – будете на чубаром ездить да меня добрым словом поминать. Деньги мне не нужны, револьвер ваш ставьте!

– Мардо!!! – снова не выдержал мальчишка. – Кай тыро шэро?! Кицык мол адава железка?!⁵

– Джином со кэрав, закэр муй!⁶ – сквозь зубы процедил Мардо, и больше парень не сказал ни слова.

Через пять минут всё было кончено: цыган проиграл. Хрипло, тяжело дыша, что-то бессвязно бормоча сквозь зубы, он уронил встрёпанную голову на стол, несколько раз ударил кулаками по некрашенной столешнице. Было видно, как его трясёт, и столпившиеся рядом офицеры смотрели на сторбленную фигуру с жалостью. Но в это время с улицы донеслись истошные, раздирающие душу женские вопли, и офицерский состав, толкаясь, выбежал из трактира прочь.

Молодая цыганка выла в голос посреди двора, валяясь в жёлтой пыли и обхватив голову руками. Мальчишка склонился над ней с совершенно несчастным лицом. Красавец чубарый стоял спокойно, помахивал хвостом, косил влажный фиолетовый глаз на кокетливо перебирающую ногами кобылу Стадницкого, даже не подозревая о грядущих переменах в своей судьбе. Конь был явной, несомненной породы: маленькая сухая голова на изящной шее, длинное подтянутое туловище, великолепной формы тонкие ноги с точёными бабками.

Мардо, шатаясь, вышел из трактира и, обхватив руками шею чубарого, несколько раз содрогнулся всем телом. Вышедший следом Авалов сочувственно похлопал его по спине.

– Понимаю, брат... великолепная лошадь. Что ж, тебя никто не принуждал, не правда ли? Вперёд будь осторожней, серьёзная игра не любит горячки, голова должна быть ясной. Поверь, только это тебе и портит игру. А для твоего чубарого гораздо лучше будет возить кавалерийского офицера, чем таскать вашу разбитую колымагу. Этот конь не для упряжки, к тому же...

– Ай, ваше сковородие-е-е!!! – вдруг раздался пронзительный крик такой силы и надрыва, что Авалов, вздрогнув, не закончил фразы. Молодая цыганка кинулась к нему, чудом не сбив штабс-капитана с ног, и, повалившись в пыль перед ним, обхватила исцарапанными грязными руками его сапоги.

³ Что ты делаешь, послушай меня...

⁴ Пошёл вон, убью! Дурак!

⁵ Где твоя голова? Сколько стоит эта железка?!

⁶ Знаю, что делаю, заткнись!

– Ваша милость! Господи! Господин генерал! Да что же это, боже мой, что же это такое! Ведь вы не знаете, не знаете, миленький... – запрокинув искажённое, залитое слезами лицо, цыганка захлебнулась рыданием.

Донельзя смущённый Авалов нагнулся к ней:

– Встань, дура, ты с ума сошла, какой я тебе генерал...

Больше сказать он ничего не успел: цыганка снова зашлась диким воем. С тополей вокруг трактира, панически каркая, сорвалась стая ворон, а несколько казачьих верховых, проезжавшие мимо, спешили и побежали во двор.

– Шо тут?

– Цыганка воет...

– Спёрла, што ль, чего? Споймали?

– Не, муж коня в карты продул...

Вокруг цыганки сгрудилась целая толпа солдат; двое или трое, присев на корточки, пытались успокоить её, но какое там... Заливаясь слезами, вцепившись обеими руками в растрёпанные косы, колотясь о землю головой, она закатывалась в истерику:

– Боже мой, барин, генера-а-а-ал... Да что ж нам делать, что же нам делать теперь?! Ай, пропала я, пропала, бедная, что ж со мной станется?! Ай, умереть мне теперь, жилы порвать, нутро всё вывернуть кишками наружу! Ваша милость, ведь один конь у нас был, он телегу возил! Господин генерал, да ведь муж-то теперь меня, меня в телегу впрягать станет! У цыган закон такой: коли лошади нет, жена всю семью везёт! Ай, ваше сговорodie, ай, пропала я, лучше прямо сейчас помру, чем телегу на себе потащу, а за мной мои кишки по грязи поползут-у-ут...

– Да что ты несёшь, глупая, успокойся... Перестань завывать, говорят тебе! – рявкнул совсем сбитый с толку Авалов и опять попытался было поднять цыганку с земли, но та лишь снова уцепилась за его сапог, набрала воздуха и надала.

– Господа, надо бы что-то делать... – неуверенно сказал Стадницкий. – Муж её уморит.

– Кто просил его играть? – нервно возразил Авалов.

– Слов нет, он дурак, но за что же отвечать этой девочке? – запальчиво вмешался молодой прапорщик. – Господа, я немного знаю цыган, с женщинами они себя ведут совершенно по-свински... Держу пари, что он и в самом деле её запряжёт!

При этих словах цыганка в корчах забилась на земле. Авалов в сердцах сплюнул, выдернул наконец из её рук свой сапог и широко зашагал по двору.

– В жизни не попадал в такое идиотское положение! – ворчал он, искоса поглядывая то на голосящую цыганку, то на её мужа, который по-прежнему обнимал за шею чубарого коня и, казалось, вовсе ничего не слышал. – Стадницкий, в кои-то веки мне нужен ваш совет, а вы теперь молчите! Придумайте хоть что-нибудь! У меня от её визга лопаются голова!

– Позвать казаков, пусть уберут? – неуверенно предположил ротмистр.

– Да нет, другое... Может, дать ей, в конце концов, какую-нибудь клячу взамен? – внешне остановившись, с надеждой спросил Авалов. – Болтаются ведь за вашей батареей эти одры с рёбрами гармошкой? Я давно предлагал пристрелить их, а ваши донцы не дают! Так пристройте этих кляч хотя бы к цыганам, всё равно на позициях от них не будет никакого толку!

– А ведь здравая мысль, Авалов! – обрадовался Стадницкий. – Разумеется, это не лошади, а мешки с навозом, но всё же... Черпаков! Черпаков! Черпаков, чёрт возьми, где тебя носит?!

Прибежал молодой казак со сбитой на затылок фуражкой, который минуту назад что-то обсуждал, давясь смехом, со своими товарищами у коновязи.

– Черпаков, приведи этих заморышей, которых вы прикармливаете. Они ещё не подошли?

– Никак нет, ваше благородие! Цыганке отдадите? – блеснул зубами с загорелого лица казак.

– Отдам что угодно, лишь бы она не вопила, – искренне сказал Стадницкий. – Милая, успокойся, не кричи больше. Мы всё сделаем, чтобы тебе не пришлось самой возить телегу!

Цыганка затихла, но продолжала часто-часто всхлипывать, скорчившись в пыли и обхватив голову руками. Авалов, с опаской поглядывая на неё, на всякий случай встал подальше.

Чепраков вернулся через несколько минут, ведя в поводу двух кляч, в глазах которых читалась явная надежда поскорее издохнуть. Это были измученные, едва стоящие на ногах лошади с отчаянно выпирающими рёбрами и тусклой, истёртой, запаршивевшей шкурой. Осмотрев их, Авалов поморщился:

– «Уши врозь, дугою ноги, и как будто стоя спит»... Где вы взяли этот ужас, Чепраков?

– Извольте видеть, сами взялись! – отрапортовал, поправив фуражку, казак. Глаза его, то и дело косящие на цыган, смеялись. – Ишо под Познанью прибились, опосля боя! Уж не знаю, каким путём австрияки за ними ходили, но вот сами видите... Мабуть, от обоза отбились, кто ж в обозе за лошадью смотреть станет? Под седло не гожи, в орудию впрягать тоже невозможно... бродют за ребятами, как собаки, траву жувать не хотят, давали сено – не берут... Кажись, что и есть разучились, потому не кормлены давно.

– Ну, слава богу, им нашлось применение, – сквозь зубы произнёс Авалов. – Эй, милая... как тебя... Юлька? Забирай-ка этих вот... скотов и поверь, что более я для тебя ничего сделать не могу. Не позволяй своему мужу играть, если он не видит меры.

– Как она может ему не позволить, Авалов? – тихо спросил Стадницкий, помогая всхлипывающей цыганке встать с земли. – Вы же сами видели, она хотела и боялась подойти к нему во время игры! И его племянник тоже! Видимо, этот цыган из той же породы, что и вы...

Авалов только досадливо поморщился и, с тоской предчувствуя новый взрыв цыганского темперамента, зашагал к выигранному чубарому, возле которого ещё стоял Мардо. Но, к удивлению штабс-капитана, цыган отошёл от потерянного коня без слова и даже отыскал в себе силы передать повод из полы в полу новому владельцу.

– Скачите, ваша милость... чего уж теперь-то. – Он вытер глаза грязным рукавом, посмотрел в сторону. – Только глядите... Конь цыганский, к шпорам не приучен, ежели чего – скинуть может. Вы бы его без шпор, хлыстиком... Он поймёт, он у меня умница. Дай бог вам всякого, чего сами пожелаете...

– И тебе того же, – Авалов задумчиво посмотрел через плечо цыгана на его жену, суется-ся вокруг кляч наперегонки с мальчишкой. – Послушай, брат, неужели ты в самом деле запряг бы жену в телегу?

– Да на что она, дура, ещё годится... – мрачно ответил Мардо и, не глядя больше ни на чубарого, ни на его нового владельца, зашагал к воротам.

– Спаси вас бог, господин генерал! – поклонилась цыганка, и Авалов, посмотрев в её лицо, покрытое разводами мокрой от невысохших слёз пыли, только покачал головой.

– Я не генерал, девочка.

– А хоть и полковник, тоже хорошо! – Она, всхлипнув в последний раз, сверкнула белыми зубами. – Помогите вам господь, что бедную цыганочку пожалели, я за вас богу помолюсь, вас теперь на войне ни одна пуля не возьмёт! Цыганская молитва самая верная!

Она поправила на волосах красный, извалянный в пыли платок и, мелькая голыми пятками, пропустила за мужем и мальчишкой, уводящими в поводу кляч.

– Вот чувствую я, Стадницкий, что мы с вами сделали какую-то глупость... – глядя вслед видневшемуся уже внизу холма, у реки, красному лоскуту, сказал Авалов.

– И это не последняя глупость в вашей карьере, – пообещал ротмистр. – Ну, давайте хотя бы осмотрим ваше приобретение. Действительно, прекрасная лошадь. Как только она попала к этому бандиту?

– Как к ним всё попадает? Украл у кого-нибудь, только и всего... – Оба офицера в кольце возбуждённо переговаривающихся солдат зашагали к чубарому.

Цыгане, ведя в поводу лошадей, не спеша спустились к отлогому, заросшему лозняком берегу Дона, где начиналась песчаная коса и медленно текла розовая от заката, покрытая лёгкой рябью вода. Вдали, на взгорке, можно было различить палатки табора и поднимающиеся между ними дымки. Высоко в белёсом от жары небе, почти невидимый парил ястреб, за рекой поднимался меловой обрыв, а под ним расстился серо-зелёный ковёр степи. У самой воды цыгане остановились. Мардо бросил поводья, которые немедленно подхватила его жена, зашёл в воду, наклонился, ополоснул лицо. Не поворачиваясь, бросил:

– Сенька, подойди-ка.

Мальчишка, удивлённо пожав плечами, подошёл к нему – и тут же полетел в мелкую воду от сильного удара.

– Ты что?! Ошалел?! – вскочив, он сжал кулаки, кинулся было на Мардо, но тот, выпрямившись, смотрел на мальчишку спокойно и зло, щурясь против закатного солнца и без того узкими глазами, не меняя позы, и Сенька, весь мокрый, остановился, тяжело дыша.

– Если ещё раз в мои дела полезешь – совсем убью, – без всякого выражения произнёс Мардо и, выйдя из воды, пошёл к лошадям. Сенька растерянно и обиженно смотрел ему вслед, вытирая с подбородка кровь из разбитой губы. Юлька шагнула к нему, сочувственно погладила по плечу. Сенька, покраснев, огрызнулся сквозь зубы, вышел из воды и сел на песок, опустив голову на колени. Юлька вздохнула и отправилась к мужу, который, широко улыбаясь, осматривал зубы одной из лошадей.

– Ну что, Митя?

– Да как я и говорил, – не глядя на неё, усмехнулся Мардо. – Они молодые совсем, вон ямы какие под зубьями-то! И копыта не битые! Дыхх⁷, Сенька, она ведь вороная! Чтoб мне умереть – вороная! Запаршивела только! Да к концу лета у вас с дедом из неё беговая лошадка получится! Чяворо⁸, да что ты, разобиделся там? Брось, поди взгляни!

Сенька поднял сердитую физиономию, хотел было ответить что-то, но вдруг, повернувшись всем телом, тревожно прислушался.

– Скачут... – одними губами сказал он. – Ей-богу, Мардо, скачут!

В следующее мгновение из-за поворота дороги карьером вылетел всадник и, чудом не врезавшись в меланхолично глядящих на него кляч, осадил лошадь. Та взвилась на дыбы, подняв столб песка, и цыгане немедленно расчихались.

– Что ж делаешь-то, чёрт?! Пчхи!!!

– А вы б хоть от повороту отошли! – с загорелого лица прыгнувшего перед ними на песок всадника блеснули в ухмылке зубы. Это был Черпаков – тот молодой казак, что по приказу ротмистра привёл во двор трактира заморённых лошадей. – Знаешь что, Митька, уж на твоём месте-то поторопиться стоило б! Я-то думал, что и табора уж не видать, снялись да умотали!

Мардо настороженно молчал, мера казака сощуренными глазами и оглаживая кнутовище за поясом. Сенька и Юлька, обеспокоенно переглянувшись, подошли ближе. Мальчишка на всякий случай поднял с земли камень-окатыш.

– Вольна-а, конокрады! – давась от смеха, скомандовал Черпаков. – Та что подобрались, казаки своих небось не сдают! А вот вы, сволочи, земляков не помните! Я же из Уманской, вы ж у нас каждый год стоите перед ярмаркой, по дороге в Черкасск, забыли? Дед Илья, Смоляко, старшой у вас! А жена у него – тётка Настя! И бульник-то брось, малой, я тебе не кобель бешеный!

⁷ Смотри.

⁸ Мальчик.

На лицах цыган появились осторожные улыбки. Сенька смущённо бросил камень на песок, вытер руку о штаны.

– Ну, спасибо, земляки! Я на вас спор держал, вон какую штуку выиграл! – Черпаков вытянул из-за пазухи золотые часы с цепочкой, открыл их – и по берегу разнёсся чуть фальшивящий вальс «На сопках Маньчжурии». Юлька заслушалась, склонив голову набок, и казак, глядя на неё смеющимися глазами, закрыл и открыл крышечку часов, чтобы мелодия зазвучала снова.

– На что спорил-то, земля? – ещё недоверчиво спросил Мардо.

– На то, что ты своего палёного чубарца с барышом сбудешь! – Черпаков уже не мог больше держаться и заржал на весь берег, согнувшись пополам. – Это вы офицерё дурить можете как хотите, а казачков, брат, не обманешь! Казак ишо портов не надел, а уж на лошадь сел, не хуже цыгана будет! Мы-то враз сообразили, что у тебя за чубарый! Ты на нём карьером подлетел ко трактиру-то, от табора вашего всего полверсты будет, а он уж весь в поту! С запалом конь?

Тут уж засмеялся и Мардо, показывая острые белые зубы.

– Есть малость... Надорванный, через две версты ходу падает. Ни в телегу, ни под седло не годен.

– И почки, поди, больные? Потому и шпор не уважает? Ну? Ишо что? Кажись, всё мы с ребятами высмотрели?

– Звёзды считает⁹, – снисходительно добавил Мардо.

– Ну, этого не углядеть было... – Казак с некоторым сожалением оглядел двух кляч на дрожащих ногах. – Ух, кабы не господин штабс-капитан, нипочём бы я тебе этих одриков не отдал! Добрые кони-то, строевые, только что морёные. Да ведь их пару месяцев не трудить, да на хороший корм... Ты им жмыхов подсолнечных давай, как пойдут, да мылом, мылом дегтярным кажные три дня, ежели достанешь. Парша уйдёт, шерсть новая полезет... Ну, цыгана научать за лошадьё ходить – только портить. Правильно, мора! Офицерё – их учить надо! А то ишь, кавалерией командовать гораздые, а сами в конях не шиша не смыслят! Их в ихних академиях тому не учат – за конём ходить, им ишака за рысак сбуть можно. Наши казачки этого не больно одобряют, потому и молчали... Ну, ты молодец! Смерть глядеть было, как ты чубарого от сердца отрывал! «Ваша милость, шпор только не давайте...» – и соплю на забор повесил! Наши – как один улеглись гоготать! И молодая твоя хороша! – Черпаков с явным удовольствием посмотрел на Юльку. – Ить какую концертую закатила, всё вороньё в округе пораспужала! В телегу её, вишь ли, запрягать будут! Уж на что я разумел, что для дела баба убивается, и то слезу вышибло! А офицеры – народ нежный, им прямо по сердцу вспахало... Казак баба!

– Цыганка небось, – коротко сказал Мардо, даже не взглянув на жену, но Юлька вспыхнула улыбкой, зарделась, посмотрела на мужа ласково и благодарно. Черпаков, покосившись на неё, отчего-то вздохнул, крикнул.

– Что ж, земляки, прощайте покуда, с барышом вас! – Он взялся за луку седла, вскинулся было на коня, но, вспомнив о чём-то, вдруг спрыгнул обратно и, подойдя вплотную к мальчишке-цыгану, пристально взгляделся в его глазастую физиономию.

– Чего ты? – немного испуганно спросил Сенька, отстраняясь.

– Скажи-ка, малой, Ванька Дмитриев, цыган, не родня тебе?

– Не знаю... Из каких он?

– Да кто ж вас разберёт-то?... В шестом кавалерийском у нас служил! Говорил мне, что сам из московских, не бродяжит, но уж больно рожей с тобой схож. И чёрный такой же! Вот и не пойму, али вы все на одну морду, али...

– Постой! Постой! – вдруг подпрыгнул Сенька. – Ванька, говоришь? Московский? Молодой? Поёт хорошо? Вот здесь, над бровью, подковой шрам выбит?!

⁹ Недостаток лошади, когда она при натягивании поводьев задирает голову и не слушается команды.

– Ну!!!

– Наш! Наш! Брат мой двоюродный! Только как же... – Сенька растерянно и радостно хлопал ресницами. – Тётке ведь ещё в начале войны от начальства прописали, что пропал... погиб без вести... И писем не было... Наши уж его и в поминания второй год записывают... Не спутал ты чего, брильянтовый?!

– Какое! – развеселился Черпаков. – Живой, как мне живым быть, и не ранетый даже! В плену, это верно, был, цельный год, дак ведь сбежал! Сам сбежал и ещё десяток с собой сговорил! С месяц тому назад в полк вернулся, по всему фронту его отыскивал! Их сейчас в Польшу погнали, там вроде потише. Ты матери-то его отпиши, коли грамотный, чтоб не мучилась, а то куда начальство при нынешних делах соберётся...

– Дэвлалэ!¹⁰ Дорогой ты мой! – Сенька, сияя улыбкой, кинулся обнимать казака. – Да какую ж ты нам весть принёс! Ванька наш живой! Тёти Даши сын живой! Да как же она обрадуется, вот спасибо тебе, золотой! Пошли, пошли к нашим, в табор пошли, сам деду расскажешь! Ванька же ему внук кровный, дед тебе за такую весть что пожелаешь отдаст!

– Не могу, брат, служба... – нехотя отказался Черпаков. – А вы, поди, сниметесь сейчас?

– Да уж, верно, придётся... – ответил Мардо, поглядывая на лошадей.

– Надо, надо, – серьёзно подтвердил казак. – А то, не ровён час, Авалов чубарого-то попробовать вздумает. Ну, с богом, цыгане, прощевайте. Ежели Ваньку увижу, поклон от вас передам. А вы мимо Уманской поедете? Коль не в тягость будет, зайдите к мамаше, четвертый баз от большака, Черпакова Авдотья Никитишна. Скажите – сын ваш Петро жив-здоров и вам того ж желает, и осенью, даст бог, в отпуск будет.

– Непременно заедем! Непременно! Крюка по степи дадим, дорогой, а заедем в твою Уманскую! – хором поклялись цыгане, блестя радостными улыбками.

Сенька и Мардо поочередно обнялись с Черпаковым, Юлька ласково улыбнулась ему. Казак, глянув на цыганку, только вдохнул, потёр кулаком лоб – и взвился в седло. Вскоре о том, что он был здесь, напоминало только жёлтое облачко пыли над дорогой.

– Помоги тебе бог, родной, – сказала вслед казаку Юлька и, улыбаясь, повернулась к цыганам: – Ну, что, примёрзли, чявалэ?!¹¹ Бегом, Илью Григорыча обрадуем!

Дед Смоляко, выслушав сына и внука, сдержанно похвалил их, осмотрел лошадей, велел до завтра не трогать их и даже не поить и, к удивлению обоих цыган, заявил, что горячку пороть нечего и ночевать лучше остаться здесь.

– А до света поднимемся и уедем, как хотели. Ничего, не будет гаджо¹² на ночь глядя жеребца выезжать, не захочет ему ноги в потёмках ломать.

– Как знаешь... – пожав плечами, недовольно буркнул Мардо, но дед Илья, казалось, ничего не заметил и продолжал смотреть через плечо сына на красный, наполовину скрывшийся за меловым обрывом диск солнца.

Берег темнел, вода Дона у лозняка подёргивалась туманом, возле цыганских палаток один за другим зажигались костры, рядом с которыми крутились уставшие за день женщины. Несколько девушек со смехом и болтовнёй спускались к реке за водой, и Юлька, схватив от шатра жестяное ведро с погнутой дужкой, помчалась вслед за ними.

– Стало быть, живой Ванька наш. – Чёрные, чуть раскосые, с голубым блеском белка глаза деда смотрели спокойно, но Сенька видел, как сильная рука с сизыми прожилками вен под загорелой дочерна кожей отпускает и снова судорожно сжимает узорную рукоятку кнута, заткнутого за пояс.

¹⁰ Боже мой!

¹¹ Ребята.

¹² Нецыган.

– Гаджо сказал, что как есть живой и здоровый! Как будем-то теперь, Илья? – нетерпеливо спросил Мардо.

– Ну, как... Бабка-то в станице ещё, не приходила? Вернётся и напишет Дашке в Москву. Или нет... Это долго будет, письма-то сейчас не ходят, всё война... – Илья задумался, ероша ладонью густые кудри с проседью, нахмурил густые, сросшиеся на переносице брови. Сенька и Мардо внимательно следили за ним. С берега слышался далеко разносящийся по реке голос Юльки: «Ай, раскатились колечки мои...» Сенька, услышав её, улыбнулся, сверкнув зубами; Мардо нахмурился.

– Ну, вот что, – Илья посмотрел на сына. – Ты всё едино на Москву косяк погонишь?

– Какой косяк? Который Яшка купил? – Митька недовольно почесал затылок. – Да я только после Петровых собирался... Или вовсе к осени...

– Тебе какая разница? Погонишь сейчас. Денег сразу не отдаст – должен останется. А ты заодно нашим про Ваньку расскажешь, нечего Дашке два месяца лишних по сыну-то реветь.

– Да мне-то оно к чему?... – заспорил было Митька, но Илья уже отвернулся в сторону, и Мардо не решился продолжать. Мрачно блеснул из-под бровей сощуренными, недобрыми глазами, дёрнул плечом и пошёл вниз, берегом реки, туда, где бродили в мелкой, тёплой воде цыганские кони. Илья проводил его взглядом, отвернулся, сапогом пододвинул к костру откатившуюся головню.

Над ухом зазвенел комар. Илья отогнал его, придвинулся ближе к огню; привычно шурясь от дыма, посмотрел на падающее за обрыв солнце. Подумал о том, что, пока Митька отгонит косяк в Москву и вернётся обратно в табор, много времени пройдёт. Наверное, и к лучшему.

Илья прикрыл глаза, вспоминая тот давний-давний, уже теряющийся на дорогах памяти день, когда его самого впервые принесло в Москву. Сколько лет ему было тогда? Девятнадцать, двадцать? – сейчас уже и не вспомнить. Его, таборного цыгана, не думающего ни о чём, кроме лошадей и конных базаров, позвал в столичный хор дальний родственник и друг, городской цыган Митро Дмитриев. На свою голову позвал, усмехнулся в мыслях Илья, вспоминая те дни. С горем пополам отмучившись в хоре один сезон, смертельно тоскуя по табору, по конным базарам и лошадям, по степному ветру и луне над ночным полем, Смоляко смылся из Москвы, как только потянуло весенним ветром. И не один. С ним, забыв о поклонниках и славе, о шёлковых платьях и бриллиантах, о возможности сделать блестящую партию, уехала первая солистка московского хора, сестра Митро – Настя.

Стоило Илье вспомнить жену, как она и появилась вдали, на дороге, спускающейся от станицы. Появилась в толпе других цыганок, из которых больше половины были её невестками и внучками, но до сих пор Настя выделялась среди них походкой и статью: казалось, царица или княгиня идёт босая по пыльной дороге, высоко подняв повязанную выгоревшим платком голову. Сощурившись против заходящего солнца, Илья увидел, как навстречу женщинам мчится от реки Юлька и уже на бегу начинает кричать и хвастаться сегодняшней меной мужа. Цыганки приближались к табору, в вечернем тёплом воздухе слышались их болтовня и смех.

Илья вспомнил о том, как они с Настей, уже прожив лет пятнадцать в кочевье, родив семерых детей, всё-таки приехали в Москву. Илья поехал через силу, лишь потому, что жена отчаянно скучала по родне. Как чувствовал – не хотел ехать... Там, в большом доме Настинного отца, забитом детьми, внуками, племянниками и прочей цыганской роднёй, случилось то, что сломало жизнь Ильи пополам. Он увидел Маргитку – племянницу жены, подростковую дочь Митро, зеленоглазую красавицу-плясунью. Илье было тогда тридцать семь лет. Маргитке едва исполнилось семнадцать. Несколько месяцев спустя они вдвоём исчезли из Москвы.

Настя знала обо всём: Илья до сих пор не мог без мороза по спине вспоминать её слёзы, ползущие по застывшему от отчаяния лицу, той ночью, когда он уходил вслед за Маргиткой. Уходил от Насти, которую всегда любил, от детей, без которых жизни своей не мыслил. Уходил

потому, что без Маргитки не мог дышать, не мог спать, не мог жить. Что это было? Горячка? Одурь? Бес в ребро? Он и сам не понимал – даже сейчас, столько лет спустя.

Они с Маргиткой уехали подальше от Москвы, подальше от всех, кто их знал, – в Одессу. И прожили там шесть лет, и за всё это время дня не проходило, чтобы Илья не вспомнил свою семью, не подумал о Насте. Каждый день рвалось сердце, болела душа, и хуже времени, чем те годы на берегу Чёрного моря, у него не было в жизни. Илья знал, что может вернуться, что Настя примет, простит, ведь она цыганка, ведь они прожили вместе полжизни и у них дети... Но Маргитка стояла перед ним – молодая, тонкая, красивая, – манила зелёными глазами, улыбалась, и Илья понимал, что шагу от неё не сделает. И, чувствуя себя стариком рядом с ней, ревновал молодую жену отчаянно, не мог выносить, когда она даже разговаривает с другими цыганами. Да... врагу бы Смоляко не пожелал такой жизни.

В конце концов случилось то, что должно было случиться: Маргитка сбежала от него с подвернувшимся под руку цыганом-конокрадом. Позже Илья даже удивлялся, как эта девочка продержалась рядом с годящимся ей в отцы мужем шесть лет вместо шести дней. Сейчас, когда столько времени прошло, он даже лица Маргитки не мог вспомнить толком; даже погибельные зелёные глаза, от которых у него ум за разум заходил, не поднимались в памяти, а тогда... тогда Илья, оставшись один, от отчаяния загулял так, что, наверное, нашёл бы свою смерть в вонючем кабаке на окраине Одессы, если б не Роза.

Илья улыбнулся. До сих пор он не мог не улыбаться, вспоминая о Розе. И вот её-то помнил прекрасно – всю, от грязных пяток до растрёпанной кудрявой головы, от рваной синей юбки и оранжевой кофты до узких, насмешливых глаз, острого подбородка, лукавой улыбки. Роза была цыганкой, но со своей семьёй не жила, предпочитая кочевать в одиночку и быть самой себе хозяйкой. За собой она таскала Митьку, сироту-племянника, как две капли воды похожего на неё. С ними Илья и прожил целое лето – после того как Роза притащила его, насмерть пьяного, из окраинного кабака к себе домой, привела в чувство, велела рассказать всё как есть и, пожав плечами, предложила: «Оставайся». Илья остался: идти ему было некуда, искать Маргитку он всё равно не собирался, возвращаться в Москву пред Настины очи было стыдно до темноты в глазах.

Они с Розой прожили вместе три месяца. Одно короткое лето на берегу моря, в рыбацком посёлке, сто долгих жарких дней, сто тёплых ночей. Ни слова о любви не было сказано между ними, и Роза, посмеиваясь, говорила: «Надоем – поезжай в Москву, человек со своими детьми должен жить». Илья и слышать об этом не хотел: ему было хорошо с Розой. Хотя, может, она говорила верно, и никакой любви у них в помине не было – ведь по-прежнему день за днём он думал о своей семье и по-прежнему саднило сердце... Но его неприученная к узде судьба в какой уже раз поднялась на дыбы и выкинула то, чего Илья никак не ждал: Роза умерла. Умерла, сгорев за неделю от грудной болезни, заставившей её все семь дней промучиться, кашляя кровью в медный таз, и в конце концов уложившей в землю. За несколько мгновений до смерти, когда Илья, теряя голову от горя, стоял на коленях у её постели, Роза сказала:

– Иди в Москву, дурак, там твоя семья... Только Митьку моего не бросай.

Илья выполнил её волю. Ведь всё равно остаться в Крыму без Розы, в её опустевшем доме, он не смог бы: сожрала б тоска. И через неделю после похорон уехал в Москву, прихватив с собой тринадцатилетнего Митьку, про которого Роза говорила: «Хоть и цыган, а босяк. В табор парню уже нельзя, не приучен. Держи его при себе, морэ¹³, не то пропадёт».

Илья вернулся в Москву. И Настя приняла его не моргнув глазом, спокойно сказав: «Всё равно, кроме тебя, кобеля, никого в жизни не любила». И Илья понял, что никогда больше шагу в сторону от жены не сделает. Так и вышло. Ведь ему уже было за сорок, и у них с Настей, кроме семерых детей, росли внуки.

¹³ Дружеское обращение к мужчине-цыгану.

Все эти годы без него Настя пела в московском хоре, который держал её брат, к тому времени известный городу хоровод Дмитрий Трофимыч. Когда она запела первые партии, хор Митро загремел на всю Москву, «на цыганку Настю» съезжались целыми компаниями, о ней писали в газетах, специально для неё сочинялись романсы, и доходы хора взлетели в заоблачную высь. Илья усмехнулся, в который раз передёрнув плечами при мысли о том, что подумал Митро, когда он, Илья, неожиданно-негаданно снова свалился в Москву. Вернулся после того, как сбежал с дочерью Митро, бросив его же сестру. Илья до сих пор не мог понять, почему бывший друг его не убил, как только увидел. Более того, сказал: «Оставайся, коли хочешь. Будешь петь с женой – в хоре хоть деньги большие заработаешь, твою-то голосину здесь хорошо помнят».

Разумеется, Илья не остался: совести бы не хватило каждый день мозолить Митро глаза своей мордой. И Настя не настаивала на этом, хотя в хоре была её жизнь. Привычно, не сказав ни слова, она связала узел и вернулась с мужем в табор. Сыновья разделились: те, которые успели пережениться на хоровых цыганках и попробовать ресторанного хлеба, к скрытой досаде Ильи, остались в Москве. Старший сын с семьёй жил в Смоленске, торговал лошадьми. Дочь вышла замуж за питерского цыгана, сына хоровода. Двое младших сыновей, ещё не успевшие обзавестись семьями, отправились за родителями в табор.

Прошло несколько лет, и Илья уже окончательно поверил в то, что несчастья его семьи теперь позади, когда на них свалилось такое горе, от которого волосы сорокалетней Насти в один день стали белыми, как у древней старухи, а Илья даже полгода спустя всё ещё не мог ни с кем разговаривать. Беда случилось с их сыном Петькой, который вместе с женой и двумя детьми жил в Москве. Однажды зимой они вернулись из ресторана под утро, страшно усталые, тут же повалились спать, и жена Петьки позабыла открыть на ночь печную выюшку. Угарный дым пошёл из печи в комнату, и наутро никто не проснулся – ни Петька, ни его жена, ни годовалая малышка, спящая под боком матери. Уцелел только старший их сын, пятилетний Сенька, который, на своё счастье, ночевал в эту ночь не дома, а у соседей.

До сих пор иногда Илье слышался во сне страшный крик Насти по мёртвому сыну – и мороз продирает по коже. Всю дорогу до Москвы Настя ещё держалась, но, увидев своими глазами могилы сына, невестки и внучки на кладбище у Бутырской заставы, слегла. И лежала в постели две недели, повернувшись спиной ко всем, – только маленький Сенька находился при ней безотлучно. Он остался с дедом и бабкой, хотя взрослые сыновья Ильи, которые жили в Москве, готовы были забрать его к себе. Но мальчишка по собственной воле уехал в табор, и Илья был этому только рад: глядя изо дня в день на шептунного, любопытного, постоянно лезущего во все дырки внука, Настя мало-помалу пришла в себя.

«И до чего же они все с тебя списаны, Илья!» – с напускной досадой говорила она, наблюдая за тем, как лохматый, бровастый, глазастый, чёрный, как галка, полуголый, как все таборные дети, Сенька с упоением скачет в придорожной луже, обдавая всё вокруг грязными брызгами. – Хоть бы один на меня или там на невесток похож был... Нет! Все до единого – смоляковская порода разбойничья!» – «Значит, кровь наша гуще...» – бурчал довольный Илья. Впрочем, глаза-то у Сеньки были как раз бабкины: «очи чёрные», каждый со сливу размером. Любая девчонка за такие глаза полжизни бы отдала, а вот поди ж ты – оказались на смоляковской роже, с которой только на каторге место... Внука Илья обожал. К его безмерной радости, из Сеньки вырастал настоящий таборный цыган, которому, слава богу, и в башку не забредало уехать в город и петь там за деньги для господ. С пяти лет мальчишка неизменно болтался с дедом по конным ярмаркам и базарам, к двенадцати годам мог уже весьма здраво оценить лошадь, выискать в ней мельчайшие изъяны, сбить цену вдвое, а через полчаса перепродать коня на той же ярмарке втрое дороже. Илья, который сам был таким, внука хвалил редко, опасаясь сглазить, но про себя понимал: кофарь из Сеньки выйдет знатный. Пожалуй,

и не хуже его самого, Ильи Смоляко, которого знали на всех конных ярмарках от Смоленска до Новочеркасска. А может быть, и лучше, потому что Сенька умел говорить с лошадьми.

Выяснился необычный внуков талант довольно поздно, потому что сам мальчишка никому о нём не рассказывал, полагая, что это умеют все и посему хвастаться тут нечем. Потому, когда Илья, которому цыгане сообщили о Сенькиных беседах с конями, начал осторожно расспрашивать внука, тот сначала только хлопал мохнатыми ресницами.

– А что в этом странного? Как все, так и я... Я говорю, кони говорят... А можно и не говорить...

– Это как, чяворо? – Илья едва удерживался от того, чтобы не перекреститься, чувствуя, что мальчишка не притворяется.

– Да просто же! – пожимал плечами внук. – Без разговору... Они ж умнее людей-то, кони!

В последнем Илья, сам прошедший всю жизнь среди лошадей, ничуть не сомневался, но тем не менее заявил:

– Не может такого быть! Али ты врёшь, али цыгане наши!

– Очень надо врать-то... – недоумевал Сенька. – Ты шутишь, верно, дед? Ну, вот гляди, сейчас твой серый ко мне подойдёт и начнёт тыкаться, а я ему скажу, чтоб не лез, потому как хлеба нет.

Илья глаз не сводил с Сеньки, ожидая подвоха, но внук лишь спокойно посмотрел на пасущегося неподалёку серого своими огромными глазами – и тот вдруг, оставив в покое полубожёванный куст раkitника, дёрнул шеей, прямо пошёл к мальчишке и сунулся мордой к нему в плечо. Сенька стоял столбом, не отталкивая коня, но через мгновение тот сам недовольно мотнул головой и вернулся к кустам.

Больше Илья вопросов внуку не задавал. Но всерьёз беспокоился, когда пару лет спустя подросток Сенька с подозрительным интересом начал расспрашивать деда о его лихой конокрадской молодости. Илья сначала пытался отмолчаться и перевести всё в шутку, но упрямый мальчишка не отвязывался, и дед-конокрад в конце концов взорвался, как бомба:

– Не был, говорят тебе!!! Не воровал! Не трогал отродясь никаких коней чужих, чтоб им околеть! Отвяжись, болесть злая! Врут наши дураки тебе всё, языки-то сорочьи без костей!.. Ну, может, было раза два по молодости... Или три... Но бросил! Бросил, слышишь?! И ты не смей об этом даже думать, не то шкуру кнутом спущу до костей! Мало бабке несчастья из-за вас всех, нарожала себе на погибель!

О том, что будет, если Сенька с его-то талантами в самом деле подастся в конокрады, Илья старался не думать, но, к счастью, бог миловал: неистребимой страсти обладать чужой приглянувшейся лошастью внук оказался напрочь лишён. И Илья в который раз вздохнул с облегчением.

Годам к четырнадцати у Сеньки прорезался очень неплохой голос, и городские родственники начали всё чаще наезжать в табор, упрашивая деда отпустить внука в Москву хоть на один сезон. Но Илья, хорошо помнивший собственные мытарства в Первопрестольной, стоял насмерть:

– Не дождётесь, бутербродники! Сенька – таборный цыган, закорённый, ему в вашем кабаке не место, и не просите даже! Озолотите – не пушу!

– Ну, спросит он тебя, коль сам захочет... – обиженно ворчала Настя.

В глубине души Илья понимал, что жена права: останавливать внука кнутом, если бы тот в самом деле польстился на городское житьё, у него рука б не поднялась. Но, к счастью, сам Сенька и слышать не хотел о московском хоре – хотя на дедовой гитаре играть выучился быстро, и без него не обходилась ни одна гулянка в таборе. Для полного успокоения Илье оставалось только женить внука на таборной девчухе из хорошей, уважаемой семьи. Но Сеньке, по словам Насти, знающей до изнанки всё, что касалось её детей и внуков, никто пока не нравился. Илья пожимал плечами: «Молодой ещё, дурь в башке носится. Подождём».

Голова у него в то время болела главным образом из-за Митьки.

Племянник покойницы Розы, которого Илья взял в свою семью, прожил в таборе года два, и к концу этого срока Илья уже точно знал, что Роза оказалась права: таборная жизнь для парня не годится. Митька отлично разбирался в лошадях и мог под настроение за один базарный день взять барыша больше, чем все кофари табора, вместе взятые. Мог он также пропасть на неделю-две и вернуться с крадеными скакунами в поводу, мог сбыть их в полдня за хорошие деньги, мог сменять на ещё лучших коней. Но Илья видел: лошадьми этот парень не болен. Митька рос самым обычным вором, и что делать с ним, Смоляко не знал – не помогали ни уговоры, ни кнут.

С пятнадцати лет Митька начал надолго пропадать из табора. Сам он никогда не рассказывал о том, где бывает и чем занимается, но цыгане рассказывали Илье о том, что его приёмный сын крутится с русскими ворами. Смоляко злился: «Врёте, черти, языки подвязали б!», но про себя знал, что это правда. Митька болтался по России, часто и, кажется, удачливо играл в карты, воровал понемногу во всех губернских городах. К восемнадцати годам цыгане уже звали его Мардо¹⁴: скуластую Митькину физиономию испортили несколько рваных, длинных шрамов, полученных в драках. В двадцать лет он наконец попался и отправился на каторгу, года через три вернулся – и через несколько недель всё пошло по-старому. Илья, в глубине души надеявшийся, что хотя бы город Нерчинск Митьку образумит, вынужден был признать: ничего у Нерчинска не получилось.

Однажды Смоляко и в самом деле показалось, что парень решил угомониться: это случилось, когда тот приехал в табор на кибитке, в которой сидела молодая цыганка-котлярка с повязанной по-замужнему головой. Первое, о чём Илья спросил, увидев семнадцатилетнюю, тоненькую, чёрную, большеротую, смущённо улыбающуюся Юльку, было:

– Красавица, он тебя силой взял?! С мешком на голове увёз?!

Юлька залилась такой краской, что Илья тут же понял: никакой силы и в помине не было. Впрочем, второй его вопрос оказался не лучше первого:

– Да на кой он тебе сдался-то, каторжник бессовестный?!

– Илья!.. – тихо ахнула за его спиной Настя.

Никто, кроме него, этого не услышал, но Смоляко тут же опомнился, глубоко вздохнул, приходя в себя, покосился на Митьку. Тот не обиделся: смотрел на молодую жену насмешливыми глазами, вертел между губами соломинку, поглядывал на молчащих от изумления цыган. Насладившись общим столбняком, Мардо выплюнул соломинку и сквозь зубы бросил жене:

– Что стоишь? Иди делом займись...

Юлька, улыбнувшись, взяла ведро и пошла к реке. И целая толпа цыганок бросилась за ней: допытываться, как всё случилось. Митька же, как ни в чём не бывало, распряг лошадей, выпустил их в поле и принялся растягивать драный шатёр. Смоляко понял, что рассказывать сын ни о чём не собирается.

Илья по сей день задавал себе вопрос: как могла Юлька добровольно выйти за этого кромешника? С появлением в таборе смуглой худышки с охапкой выющихся волос, которые вылезали из-под платка во все стороны, сводя на нет Юлькины попытки выглядеть солидно, над табором, казалось, взошло ещё одно солнце. За медово-коричневый цвет мордашки её прозвали Копчёнкой, на что жена Мардо ничуть не обижалась.

Любая таборная цыганка хорошо или плохо умела добывать хлеб в семью, но Юлька вытворяла такое, что опытные гадалки только диву давались, глядя на неё. Ей ничего не стоило собрать вокруг себя весь базар своей босоногой пляской под бубен, а плясать Юлька могла с утра до ночи, почти не переводя духа. Если ей это надоедало, она шла гадать, и, тараща глаза, таинственно заглядывая в лицо деревенской бабы или затянутой в кисею и муслин барышни,

¹⁴ Битый.

говорила такое, что те бледнели, хватались за грудь и давали оборванной врунье всё, что та просила, да ещё добавляли от себя. Если же Юлька ленилась гадать, она могла схватить роющуюся в навозе курицу столь молниеносным движением, что та не успевала даже понять, что случилось, а уже оказывалась со свёрнутой головой под фартуком улепётывающей прочь воровки. Да что там курица... До сих пор цыгане, давясь смехом, вспоминали и пересказывали друг другу историю о том, как однажды в Калуге Юлька, болтаясь под заборами невысоких купеческих домиков в поисках заработка, увидела в одном из распахнутых окон накрытый для праздника стол. Заинтересовавшись, она перелезла через забор, заглянула в окно и убедилась, что в комнате никого нет. На то, чтобы забраться в окно, аккуратно составить на пол пустые тарелки и стаканы, которые могли разбиться, связать в узел скатерть со всем содержимым, взвалить узел на плечи, под мышки сунуть две бутылки вина – для мужа и для свёкра – и вымахнуть за забор, Юльке хватило полминуты. А потом весь табор умирал со смеху, глядя на то, как Копчёнка с гордым видом развязывает перед своим шатром скатерть, на которой красовалась дивная куча из пирогов, жареного гуся, яблок, утраченных тем же гусем, рыбного заливного, колбасы, хрена и редьки, торта «бланманже» и грибной запеканки. Слизали Юлькину добычу всем табором и долго ещё вспоминали «купеческий ужин» и ухватистость добытчицы.

По мнению Ильи, Митьке нужно было останавливать лошадей в каждом селе, идти в церковь и ставить самую дорогую свечу за такую жену. Но Мардо, кажется, подобные мысли не посещали. По-прежнему он появлялся в таборе три-четыре раза в год, по-прежнему уходил, когда хотел. Илья не знал, огорчает ли это невестку: плачущей Копчёнку никто и никогда не видел. Частые отлучки мужа она, казалось, принимала как должное. Когда Мардо возвращался, Юлька искренне радовалась, с утроенной силой вертелась возле костра, готовя ужин, пела для него весь вечер, собирая цыган к своему шатру, спозаранку неслась в деревню или на городской базар, чтобы как следует накормить Митьку, – а когда через неделю-две он уходил снова, она бежала за его конём, на всё поле крича: «Дэвлэса, тэ дэл о дэвэл ба-а-ахт!¹⁵» – и всё шло по-старому.

– Любит она его, вот и всё, – сказала как-то Настя.

– Да? И с чего его любить-то? – недоверчиво поинтересовался Илья.

– С чего я тебя любила? Просто так... Это ведь не угадаешь.

– Девочку жалко, – помолчав, проворчал Илья. – Он подошвы её не стоит.

– А так всегда и бывает, – Настя прятала улыбку. – Не беспокойся. Время пройдёт, Митька уgomонится, заживут по-человечески. Жаль, что детей нет.

– Почему нет-то? Ты с Юлькой не говорила? Может... делает она чего?

– Нет. Просто не получается пока.

– Понятное дело, не получается, если муж раз в год на два дня наезжает... Доиграется Митька, сбежит девочка с другим, а я и держать не стану!

– Брось. Ты же видишь – Юлька не плачет, весёлая бегаёт. Стало быть, годится он ей такой.

Илья пожимал плечами, молчал.

В четырнадцатом году грянула война с немцем. У Ильи забрали в солдаты старших внуков, которые пели в московском хоре, и на одного из них почти сразу пришло похоронное извещение. Дочь убивалась по своему Ваньке так, что цыгане не знали, что с ней делать, и даже мать, Настя, примчавшаяся в Москву сразу же, как до табора донеслись плохие вести, не могла успокоить её. Только через полгода Дарью перестали видеть в слезах каждый день, но в хоре она долго ещё не пела. «Горло сжимает, дышать не могу», – объясняла несчастная мать цыганам. Лишь в последнее время Дарья понемногу начала снова выезжать в ресторан, снова петь, и это было очень кстати: за военные годы доходы хора сильно упали.

¹⁵ С богом, пошли господь счастья!

И вот теперь – такие новости. Ванька, получается, живой, не ранен, не в плену, того гляди, сам напишет родителям... А письма не ходят, чтоб сгорела эта война...

Глядя на то, как над тёмной гладью реки поднимается белый бубен луны, Илья подумал о том, что хорошо бы поехать в Москву самому. Самому обрадовать дочь, посмотреть на то, как осветится радостью её бледное, осунувшееся, уже несколько лет не улыбающееся лицо, услышать её смех, её песню... На Митьку надежды мало, может и не доехать – запить, украсть что-нибудь по дороге, усесться в тюрьму... чтоб он подох, паршивец. Вот послал господь сынка, не иначе за грехи, мрачно думал Илья, идя берегом реки. Кабы не слово, которое он Розе давал... А как было не дать, когда помирала? И кто знал, что из Митьки этакая пакость получится?..

– Дед...

Он не спеша обернулся. За спиной стоял Сенька, улыбался: из темноты блестели зубы.

– Тебе чего? – строго спросил Илья.

– Мама¹⁶ ужинать зовёт. Без тебя не садимся.

– Заждались, стало быть? – проворчал он. – Ладно... Беги скажи: сейчас буду.

– Дед, я спросить хотел...

– Ну?

– Можно я в Москву поеду? С Мардо?

– С чего это? – удивился Илья. – Мёдом тебе там намазано?

– Нет. Просто так. Я помог бы...

– «Помог бы...» – сердито передразнил Илья. – Ты у него только под ногами путаться будешь! Скажи вот мне лучше, отчего у тебя морда битая?

Сенька покраснел так, что видно было даже в темноте. Неловко поднёс руку к лицу.

– Это?.. Упал... С лошади...

– Это которая тебя сбросила? – невозмутимо поинтересовался Илья. – Из тех, что вы с Митькой у офицера сменяли? Горячие рысаки, нечего сказать...

Сенька опустил лохматую голову. Илья молчал, глядя на отражение луны в медленно текущей реке. Чуть погода произнёс:

– Какого лешего ты за ним таскаешься? Он тебе морду бьёт, как сопляку, от себя гоняет, а ты... тьфу! Будто не цыган вовсе... Чему он тебя выучит?! В карты играть?! Карты, чяворо, дело гнилое, сегодня сфартит, а завтра – без штанов поскачешь. Али в тюрьму захотел? Митька – вор, и дело его воровское, пропащее, он другим уж не будет, а ты молод ещё по тюрьмам ошиваться. Женить тебя, жеребца, что ли? Чтоб дурь из башки вытрусить?!

– Не надо! – быстро проговорил Сенька, и Илья скупно усмехнулся. Не глядя на внука, пошёл дальше тёмным берегом реки. Слушая осторожные шаги Сеньки у себя за спиной, думал о том, что отпускать этого балбеса с его дядькой-вором, конечно, ни к чему. Но как положиться на Митьку, про которого никогда не знаешь, в каком городе ему приспичит загулять? Сенька-то в любом случае и до Москвы с лошадьми доберётся, и всё, как надо, Дашке передаст, и назад в табор вернётся ещё до осени...

– Ладно, поезжай, коль охота есть, – не оглядываясь, хмуро бросил Илья. – Прямо на рассвете и трогайте с богом. А ещё раз увижу, что Мардо тебя картам учит, отдеру кнутом обоих! Так ему и передай!

Сеньку словно ветром сдуло: парень явно боялся, как бы дед не передумал. Илья с усмешкой проводил его взглядом, ещё раз посмотрел на качающееся в тёмной воде отражение луны и медленно пошёл в сторону табора.

– Повеселей бы спела что... – не открывая глаз, сказал Мардо, и Копчёнка, сидящая у углей и вполголоса напевающая без слов вальс «На сопках Манчжурии», испуганно смолкла.

¹⁶ Бабушка.

– Я думала, ты спишь...

– Не жравши да под вытьё твоё заснёшь, пожалуй... – Мардо, усмехнувшись, сел на расстеленном прямо у костра половике, потянулся, поскрёб голову. – Готово, что ли?

– Садись.

Мардо сел, скрестив ноги; молча смотрел на то, как жена ловко и быстро расстилает на траве скатёрку, раскладывает на ней посуду, кладёт хлеб, соль, испечённую картошку. Последним на скатерти утвердился дымящийся котелок, и Мардо, подавшись к нему, с удовольствием потянул носом:

– Кура, что ли? Где берёшь только?

– Сам же сказал – цыганка небось, – усмехнувшись, дёрнула плечом Юлька.

Мардо придвинул к себе дымящуюся миску с супом, отхлебнул одну ложку, другую, откусил половину очищенной луковицы, кусок хлеба. С набитым ртом буркнул:

– Что присохла, дальше пой давай!

Юлька внимательно посмотрела на него, заметила, что муж хмуро, не поднимая глаз, улыбается, вздохнула и запела – сначала тихо, потом, увлечшись, всё сильнее, чистым, звонким голосом. Из темноты подошли несколько молодых цыган, остановились, слушая песню, поглядели на Митьку, но тот не пригласил садиться рядом, и парни, ещё раз восхищённо вздохнув, отошли.

«...Дуракам счастье даётся...» – донёсся до Мардо из темноты обрывок их разговора. Он жёстко усмехнулся, уставившись в землю. Чуть погодя посмотрел на жену. Та, казалось, не слышала ничего; поймав его взгляд, улыбнулась и забрала ещё звонче. Мардо лёг на спину, закинул руки за голову, закрыл глаза, слушая Юльку. Лениво подумал: где она только набирается этих песен, никто в таборе таких не знает... Сама сочиняет, что ли?

Ай, качаются, качаются берёзки...
Карик ту мандыр, чяворо, утрадэса?..
Что мне бедной-глупой, делать,
По какой бежать дорожке...

Песня закончилась. Юлька посмотрела на мужа, но тот лежал с закрытыми глазами. Вздохнув, она принялась собирать со скатерти посуду. Не глядя на Мардо, тихо спросила:

– Куда ты от меня снова едешь?..

– Дела, стало быть, – спокойно произнёс он в ответ.

– Надолго?

– Как выйдет.

Юлька отвернулась. Чуть погодя сдавленно прошептала:

– Ты только возвращайся.

– Куда ж я денусь? – удивился Митька, открывая глаза и садясь на половике. Незнакомые нотки в голосе жены насторожили его.

– Да мало ли... – Юлька не поворачивалась к нему. – Митька, если ты другую жену возьмёшь, я в реку брошусь, так и знай.

– Тьфу, дура... – растерянно сказал он. – Да на кой чёрт мне другую-то? Шило на мыло менять? Все вы одинаковые, визгу много, толку мало...

– Так уж и мало?

– Ну-у... сегодня хорошо, конечно, сделала, – нехотя признал Мардо. – Гаджэ чуть с тобой вместе в голос не завывали там, в трактире-то... Э! Юлька! А сейчас-то чего ревьешь, бес-толковая?!

– И ничего подобного. – Копчénка быстро и сердито вытерла лицо рукавом, высморкалась. Вытерев пальцы о траву, села рядом с мужем. – Митя, ты бы взял меня с собой хоть раз, а?

– Тебя? – рассмеялся он. – Сдурела? Зачем?!

– Сгожусь. Вот хоть как сегодня... – Юлька взяла его руку, заглянула в глаза. – Возьми меня, а? Я бы... я бы и в карты играть выучилась, если надо!

– Да кто с тобой сядет, безголовая, играть-то?! – расхохотался Митька так, что от огня испуганной стайкой метнулись в сторону мотыльки. Но Юлька осталась серьёзной.

– Гаджэ сядут, – пристально глядя на мужа блестящими глазами, ответила она. – У них бабы играют, я знаю.

– Да ты дура! Это ж тебе не в подкидного... – всё ещё не мог успокоиться Мардо. – Это ж уметь надо, счёт знать, карту помнить...

Юлька вздохнула, умолкла. Слегка озадаченный Митька тёр кулаком лоб, искоса посматривал на жену. Та сидела неподвижно, глядя на луну. А затем вдруг неожиданно вскочила и, подхватив от шатра ведро, кинулась в темноту, к реке.

– Кобыла, ноги же переломаешь! – заорал ей вслед Мардо, но жена не отозвалась. Он посмотрел ещё немного в темноту, пожал плечами, вздохнул, усмехнулся. Залез в шатёр и, притянув к себе подушку, снова закрыл глаза. На него неудержимо наваливалась дрема, в животе чувствовалась приятная тяжесть, подушки Юлькины были мягкими и тёплыми, а вскоре должна подкатиться ему под бок и она сама... «Правда, что ли, в таборе остаться?..» – благодушно подумал Митька, переворачиваясь на живот и утыкаясь лицом в пахнущий мятой угол подушки. – Настя успокоится, а то всё: «Убьют тебя, убьют...» Вот косяк в Москву отгоню и подумаю...» Остальные мысли словно отрезало ножом: Мардо заснул как умер, так и не дождавшись жены, и, проваливаясь в сон, слышал лишь её песню у реки:

Ах, качаются, качаются берёзки...

* * *

16 июня 1917 года в Москве, на Живодёрке, в доме купеческой вдовы Прасковьи Щукиной праздновали именины хозяйки. Тёплый день клонился к вечеру, солнце падало за старые, бугристые садовые яблони, протягивая по траве розовые лучи, у крыльца веранды столбиками толклись комары, сладко пахли кусты жасмина. В чаще сада наперебой свистели последние соловьи, но их почти не было слышно из-за взрывов смеха, музыки и громких молодых голосов: в гостиной сёстры Щукины вместе со своими друзьями представляли живые картины. Взрослые, собравшиеся в соседней комнате за чаем, не принимали участия в этой забаве: за столом уже второй час шёл ожесточённый спор о судьбе России и императорского семейства. Без подобных бесед в Москве давно уже не обходилось ни одного застолья, в начале разговора военная молодёжь попыталась принять в нём участие, но барышни заскучали без мужского внимания, и юнкера Второго Александровского училища были вытребованы обратно в гостиную.

Спор, впрочем, продолжался и там. Во время представления картин он вёлся украдкой, приглушёнными голосами, отдельными отрывистыми репликами. Но когда барышни, продемонстрировав под угрожающие раскаты рояля проникновение демона в башню Тамары, убежали в глубь дома готовиться к очередной фигуре, молодые люди спустились в сад покурить, и там разговор возобновился.

– Вздор, Щукин, вы болтаете чего не знаете! – горячился Солонцов – стройный, ещё по-мальчишески тонкий юнкер первого курса. – Газеты могут писать всё, что им угодно, о добровольном отречении государя в интересах державы! Но преданные престолу люди великолепно понимают: никакого добровольного отречения нет! И, право, нельзя было ожидать такого поведения от передовых граждан города! Видели бы вы, что творилось в Петербурге! Все как один – с красными бантами носятся по улицам, поздравляют друг друга с долгождан-

ным приходом в Россию европейского законодательства! Барышни пищат, студенты с видом старозаветных пророков вещают о чем-то воссиявшем и взошедшем... Суший апокалипсис! С та tante нервический припадок сделался, а она – дама адмиральского здоровья...

Над головой Солонцова, вкрадчиво звеня, вился комар. Он сел наконец на лоб юнкера, и Солонцов шлёпнул его с такой силой, что сам же и поморщился. Стоящие рядом молодые люди негромко рассмеялись.

– И ничего смешного в моих словах нет, господа обер-офицеры! – вспыхнул Солонцов, стряхивая безвременно почившего комара в лопухи. – Вот вам, поручик, хорошо, вы уже успели присягнуть государю, а что прикажете делать нам в конце будущего года? Кому мы станем присягать после выпуска? Этому Временному правительству? Керенскому? Эсерам?!

– Присягнёте России, Солонцов, и спокойно поедете напрямик на фронт, исполнять свой долг, – уверенно пообещал низкий голос с чуть заметным кавказским акцентом, и могучая фигура поручика Дадешкелиани выдвинулась из тени в красную полосу заходящего солнца. – Что до меня, то мой отпуск кончается завтра, и я отправляюсь на позиции. С большим облегчением, надо вам сознаться. Видит бог, если б не тётя и сестра, я бы вовсе не оставил своей роты. По нынешним временам это просто опасно. Солдаты сейчас находятся, пожалуй, ещё в более затруднительном положении, чем мы с вами.

– Это отчего же, князь, позвольте вас спросить?!

– Неграмотны, дремучи, смертельно устали и легко попадают под влияние самой дешёвой пропаганды, – невозмутимо отозвался Дадешкелиани. Он был старше всех присутствующих молодых людей, уже полтора года находился в действующей армии и лишь несколько минут назад покинул взрослую компанию, чтобы присоединиться к молодёжи. – А пропагандистов на фронтах сейчас хватает. Люди не знают, чему верить, кого слушать, слухи по полкам носятся невероятные, отовсюду лезут какие-то провидцы и старцы со старицами... и как только просачиваются через посты?! Даже некоторые из офицерского состава уже подвержены... Что и говорить, в одном господа социалисты правы: не стоило загонять народ на эту бестолковую бойню.

– А кто его туда загнал, позвольте вас спросить, поручик? – Медленным, протяжным голосом спросил сутуловатый юнкер в сдвинутой на затылок фуражке – сын хозяйки дома. – Народ, как вы сами изволили заметить, слеп и доверчив, собственной воли не имеет, привык к вековой покорности царю-батюшке... А батюшка втравил своих чадушек в бестолковую, как вы справедливо сказали, бойню и быстренько отрёкся... похоже, торопясь избежать ответственности. Да ведь он и сам был человек подневольный...

Дадешкелиани чуть заметно усмехнулся, отвечать не стал, но Солонцов вскинулся, как боевой конь при звуках трубы.

– Как вам не стыдно, Щукин! Хуже базарной бабы, право слово! Повторяете уличные сплетни, смеётесь над святым...

– Это что же у вас святое, Солонцов? – усмешка Щукина стала совершенно издевательской. – Их старец Григорий? Воистину, господа, каждый монарх... или монархиня... имеют таких фаворитов, которых заслуживают. Фавориты – деталь необходимая при любом правлении, спору нет, без них нигде не обходится... Но в минувшей истории это были, по крайней мере, достойные люди, заботившиеся о России не менее своих августейших покровителей, много сделавшие для государства и подданных... Вспомните Миниха, вспомните Разумовского, Орловых, Потёмкина-Таврического, наконец... А что мы наблюдаем в наши дни?! Какое-то немытое недоразумение из сибирской глубинки, у которого только и было, что беспримерное нахальство и безразмерный...

– Щукин, здесь поблизости дамы, спокойнее... – мягко напомнил Дадешкелиани, и юнкер нехотя умолк. Солонцов, от возмущения утративший дар речи, открывал и закрывал

рот, как вытасченный из воды карась. Щукин следил за ним со скептической усмешкой на тонких губах. Остальные молодые люди молчали, не решаясь вмешиваться в спор.

– По крайней мере, развал армии и бардак в тылу налицо, – сухо подвёл итог разговору поручик. – Письма и те не ходят. Вообразите, я в трёх посланиях предупреждаю тётю о своем возможном отпуске – и всё равно сваливаюсь как снег на голову! Оказывается, моё последнее письмо она получила ещё в Тифлисе полгода назад! Беспорядки... и чем дальше, тем хуже. Все эти игры во французские революции и свободы у нас в России скоро приобретут необратимый характер. Временами я боюсь, что впереди ожидается кое-что похуже войны и отречения государя.

Политическая дискуссия прервалась самым неожиданным образом. Дамы, о которых упоминал князь, в полном составе высыпали на веранду, и одна из них, младшая сестра юнкера Щукина, звонко возвестила:

– Господа, вот вы всё о войне да революции, с тоски умереть можно, а у нас, между прочим, сюрприз! У нас сегодня в гостях цыгане! Бросайте свои противные папиросы и идите к нам!

– Вот это здорово! – вырвалось у Щукина, и он, сразу утратив скужающую улыбку, повернулся в сторону освещённой гостиной. Молодые люди, поспешно гася папиросы, один за другим устремились на зов. Последними шли Дадешкелиани и Солонцов.

– Поручик, сознайтесь, что вы были в курсе! – восторженным шёпотом сказал юнкер. – Это же ваши? С Живодёрки?

– Ну, разумеется, чьи же ещё? Вот и познакомьтесь наконец.

– О-о, это, право, счастье! – Солонцов, подсакивая, на ходу пытался оттереть испачканный пылью сапог сорванным лопухом. – Поручик, вот вы у них свой человек, объясните, почему цыганки ведут себя строже светских барышень? Как же там у Пушкина? «И над бровями надпись ада: «Оставь надежду навсегда!» Я ещё в имени у тётушки сколько раз пытался познакомиться короче... У нас там, видите ли, постоянно стоят таборы... стояли, по крайней мере, до всего этого революционного свинства... И вот, ходят по дворам в отрепьях: «Барин, миленький, погадаю!» Даёшь руку гадать – улыбается, бесовка, врёт, блестит глазами, голые, пардон, плечи показывает сквозь дырки в кофте... «Милая, я приду нынче вечером к вам?» – «Окажите милость, барин, как дорогого гостя примем!» Приходишь. Принимают. Песни-пляски до ночи, вытрясут из карманов всё до копейки. «А где Маша? Маша-то где?» А Маши и не видать, и её старший брат с осторожной совершенно физиономией вежливо объясняет, что сестра, изволите видеть, уехала! «Как уехала, куда, час назад здесь была, плясала у костра, чего ты врёшь, мерзавец?!» – «Никак нет, барин, уехала по цыганским делам, что ещё изволите приказать?» И возвращаешься как болван один домой... А на другой день та же самая Маша опять у тебя на дворе, и снова хохочет, и врёт, и просит то ситцу, то хлеба, то платок, и обещает, что нынче же вечером будет ждать в таборе... Дадешкелиани, ну как вам не стыдно, право?! Вам, конечно, легко смеяться!

Но было поздно: собеседник Солонцова хохотал, блестя большими белыми зубами и вытирая кулаком слёзы. Его темное, резкое лицо сразу, казалось, помолодело, и лишь сейчас стало заметно, что поручику Николаевского полка, князю Зурабу Георгиевичу Дадешкелиани, всего двадцать два года.

– Вах, Солонцов, уби-и-ил... Ну-ну, юнкер, не обижайтесь, простите... Что делать, таковы эти люди. Поверьте, у них на то свои причины. Ну, обещаю, сегодня же познакомлю вас со всеми тётинными... м-м... эрзац-родственниками.

– Тогда я – ваш раб, Дадешкелиани! – весело отозвался Солонцов.

Молодые люди вошли в гостиную и, следуя примеру других, заняли места для зрителей: юнкер пристроился верхом на венском стуле, Дадешкелиани опустился было на дряхлый

пуфик, но тот истерически закричал под его могучей фигурой, и поручик поспешно переместился на величественный кожаный диван.

На импровизированной сцене, устроенной на месте отодвинутого к стене рояля, меж тем в самом деле появились цыгане: трое очень молодых гитаристов в синих казакинах. Ни одному из них на вид не было и двадцати. Дадешкелиани весело помахал им. Гитаристы в ответ чинно поклонились, но видно было, что они едва сдерживают улыбки. Если б зрители присмотрелись внимательнее, то заметили бы многозначительные взгляды, которыми обменивались цыгане и поручик. Но как раз в это время из-за портьера, отгораживающей «сцену» от соседней комнаты, быстрой, почти нервной походкой вышла певица в черном узком платье.

– Наша Дина Дмитриева певица, цыганка, просите же, господи! – весело объявила Таня Щукина.

Гости с воодушевлением захлопали. Дадешкелиани весь подался вперед, и сидящий рядом Солонцов посмотрел на него с удивлением.

Выйдя к публике, Дина не улыбнулась. Её смуглое, резковатое лицо с опущенными глазами осталось серьёзным и почти сумрачным. Иссиня-черные, со стальным отливом волосы были уложены в низкий валик, скреплённый бриллиантовым гребнем. Тонкие, коричневые в суставах пальцы унизывали тяжёлые кольца. За кушаком красовалась белая хризантема. Остановившись возле гитаристов, Дина медленно, словно нехотя подняла ресницы – и, услышав дружный мужской вздох, чуть заметно усмехнулась углом губ. На тёмном лице молодой цыганки странно и необычно смотрелись светлые, серые, почти прозрачные, очень большие глаза.

– Принцесса Грёза, – не правда ли, господи? – произнёс за спиной Дадешкелиани насмешливый голос Щукина.

Поручик недовольно нахмурился, но в это время дружным вздохом вступили гитары, и вслед за ними вкрадчиво зазвучал голос певицы. Первые же строки романса заставили слушателей изумлённо переглянуться и ещё внимательнее посмотреть на Дину.

Я – маленькая балерина,
Всегда нема, всегда нема,
И знает больше пантомима,
Чем я сама.

И мне сегодня за кулисы
Прислал король
Влюблённо бледные нарциссы
И лакфиоль.

И, затаив бессилье гнева,
Полна угроз,
Мне улыбнулась королева
Улыбкой слёз...

– Но это же... Господи... Это же Вергинский?! – растерянно прошептал Солонцов и умолк, увидев красноречиво выставленный в его сторону огромный кулак Дадешкелиани. В гостиной воцарилась тишина, нарушаемая лишь торопливым шарканьем шагов: слушать романс спешили старшие гости.

Молодые гитаристы едва касались струн. Черты певицы были неподвижными. Светлые глаза, такие странные на этом кофейного цвета индийском лице, смотрели через головы гостей в сад, на пропадающие в сумерках кусты жасмина. Только в середине романса Дина чуть

заметно и, казалось, без всякого усилия возвысила голос, и тут же в нем прорвались живые, страстные и горькие ноты. Солонцов невольно вздрогнул, почувствовав, как по спине пробежал холодок, осторожно взглянул на своего соседа. Дадешкелиани, не сводя глаз с Дины, медленно перекрестился.

А дома, в маленькой каморке,
Больная мать
Мне будет балльные оборки
Перешивать.

И знает мокрая подушка
В тиши ночей,
Что я – усталая игрушка
Больших детей...

Звонящий, сильный голос отчаянно забился под потолком гостиной, бурно задрожали струны. В чёрных глазах гитаристов мелькали отблески свечей. Солонцов подумал, что, пожалуй, впервые изящная и томная ариетка модного Пьеро звучит с такой ураганной страстью. Но хорошо это или дурно, юнкер решить не успел: «Балерина» закончилась.

Дина опустила ресницы с неподдельной усталостью, отвернулась к гитаристам – и гостиная взорвалась аплодисментами. Мужчины вставали с мест и подходили ближе, прося руку для поцелуя. Двум-трём знакомым молодым людям Дина протянула пальцы, выслушала комплименты, с улыбкой благодаря и кивая; от остальных отделалась низким поклоном, повернулась к гитаристам – и вдруг, неожиданно хлопнув в ладоши, запела снова, весело и звонко:

Сидел Ваня на диване
Пунш последний допивал!

Гитаристы подхватили всем известную плясовую – и в тот же миг из глубины дома раздался серебристый звон бубна. В гостиную стремглав вбежала босая девочка лет шестнадцати в красной шёлковой юбке и такой же блузке. С загорелой горбоносой мордашки весело и живо блестели чёрные глаза; распущенные волосы, кое-как прихваченные сверху жёлтой косынкой, сбегали на спину и грудь крутыми кудрями, из-под косынки выглядывали заткнутые за неё цветы шиповника. На поясе был повязан пестрый платок. Выстояв несколько мгновений неподвижно и вволю насладившись произведённым эффектом (Солонцов даже уронил под ноги Щукину свою фуражку), она обернулась к певцам. Мелодия плясовой тут же стала быстрее, и девчонка, взмахнув руками, словно в реку бросаясь, кинулась плясать. По лицам зрителей Солонцов отчетливо мог понять, что никогда ещё здесь не видели ничего подобного.

Это была безоглядная, упоительная пляска без всяких правил и законов. Пятки плясуны дробно выбивали ритм на гудящем паркете, разрывался звоном бубен, метался подол алой юбки, взлетали и падали руки, локти, кудри, ходили ходуном по-детски острые плечи под красным шёлком блузки, сверкали глаза и зубы... Через несколько мгновений Солонцов вдруг поймал себя на том, что он, как и все вокруг, оглушительно горланит в такт цыганской плясовой:

Сидел Ваня на диване,
Пунш последний допивал,
И, увидя дно в стакане,
«Прощай, душенька!» – сказал!

Гитаристы умирали со смеху, но продолжали исправно ударять по струнам. Их голоса давно потонули в воодушевлённом рёве полутора десятков молодых мужских глоток. Плясунья, запрокинув растрёпанную голову, стояла прямо перед зрителями и била острыми плечами так, что, казалось, алая кофта вот-вот разорвётся, из-под неё, освобождённые, появятся крылья и унесут девочку в вечернее розовое небо. Но вот последний аккорд – взмах бубна – кудри, упавшие на лицо... и плясунья, не слушая грохота аплодисментов, бегом кинулась прочь.

– Таборная цыганка Меришка, господа! – громко объявила смеющаяся Дина.

– Меришка, Меришка! Меришка, к на-а-ам! – тут же взревели юнкера, все как один повернувшиеся в ту сторону, куда скрылась танцовщица.

Солонцов орал вместе с другими, возбуждённо комкая потерявшую всякий вид фуражку. У самых его ног лежал сорвавшийся с головы цыганки желтый платок; Солонцов порывисто поднял его и прижал к груди. Сидящий рядом Дадешкелиани сидел отвернувшись. Солонцов недоуменно пригляделся к нему и, к величайшему своему негодованию, убедился, что поручик дрожит от беззвучного смеха.

– Что тут смешного, Дадешкелиани, не понимаю! Великолепный танец, прекрасная девушка! Какое счастье, что теперь и городские цыганки пляшут так! Где только Яков Дмитрич отыскал такое чудо, в каких таких степях забайкальских?!

Дадешкелиани переглянулся со Щукиным – и оба захохотали в голос.

– Да что же это за свинство, господа!!! – вышел из себя Солонцов. – Немедленно объяснитесь, чего в моём поведении вы находите смешного?!

– Ей-богу, ничего, Солонцов, простите... – вытирая глаза, заверил Дадешкелиани. – А хотите пари? И вы, господа, также? – обратился он к другим гостям.

– Что ещё за пари? – обиженно спросил Солонцов. Заинтересованные молодые люди подошли ближе и сгруппировались вокруг дивана. – Я и так не понимаю, что происходит! И куда делись наши артистки?

– Вернутся через пять минут, им надо отдохнуть... А пари такое, – Дадешкелиани обвёл всех присутствующих смеющимися чёрными глазами. – Господа, вы только что видели двух прекрасных вакханок. Я наверное знаю, что одна из них – вовсе не цыганка. Кто рискнёт угадать – которая?

– Полно, поручик, вы шутите, – укоризненно произнёс кто-то из старших гостей.

– Ничуть! Клянусь честью! Ну – кто первый? Щукин, молчите, вы знаете! Итак, Солонцов, рискнёте?

Солонцов растерянно посмотрел на Щукина, но тот, уткнувшись в портьеру, зашёлся в приступе хохота и на взгляд товарища ответить не мог. Подошедшие барышни торопливым шёпотом выяснили, что происходит, и тоже рассмеялись.

– Но... право, не знаю, что и сказать, – нерешительно начал Солонцов. – Господа, а вы меня не разыгрываете? Обе артистки просто... просто подлинные цыганки!

– И тем не менее, – настаивал, улыбаясь, Дадешкелиани. – Ну же, Солонцов! Вы ничего не теряете!

– В таком случае, может быть, Дина – не цыганка? – осторожно предположил Солонцов.

– Вы уверены? – как можно серьёзнее спросил Дадешкелиани.

– Не уверен, но могу допустить. Вертинский... Принцесса Грёза... Серые глаза, это так необычно для цыган...

Солонцов не договорил: снова грянул взрыв оглушительного хохота. Дадешкелиани и Щукин, умирая от смеха, торжественно пожали друг другу руки. Барышни смеялись до слез. Цыгане, стоящие неподалеку, тоже вытирали глаза. Солонцов растерянно переводил глаза с одного на другого.

– Я так и знал, что это розыгрыш, – сердито буркнул он. – Как не совестно, честное слово!

– Никаких шуток! – Дадешкелиани встал и зычным голосом кавалерийского офицера крикнул на весь дом так, что зазвенела посуда на чайном столе. – Мери! Дина! Пожалуйте к нам!

Девушки, смеясь, зажали уши. Хозяйка дома, улыбаясь, покачала головой. Молодые цыгане уважительно переглянулись. Через минуту в гостиную чинно вошли обе солистки. Теперь они были в простых строгих блузках и серых юбках, похожие на курсисток или сестёр милосердия. Только Дина так и не сняла с пальцев перстни, а во вьющихся волосах её подруги ещё путались розовые лепестки шиповника. Дадешкелиани небрежно смахнул их, взял девушку за запястье, притянул к себе и повернул к Солонцову.

– Мери, это Юрий Петрович Солонцов, юнкер Александровского училища. Рекомендую, юнкер, – княжна Мери Давидовна Дадешкелиани, моя кузина.

Девушка с улыбкой сделала книксен и протянула руку. Солонцов стоял как громом пораженный, молча, не сводя глаз с грузинской княжны. Впрочем, через минуту полного безмолвия Мери перестала улыбаться и укоризненно посмотрела на своего кузена.

– Вы всё-таки устроили этот фарс, Зурико? И, конечно, спорили на деньги?

– Мери, тебя, ей-богу, никто не разоблачил!

– Да это было и невозможно, – отозвался Щукин. – Я, посвящённый в заговор поручика, и то не поверил собственным глазам!

– Оно и правда, наши тоже до сих пор дивятся, как у барышни лихо получается! – вдруг подал голос один из гитаристов.

Все взгляды тут же обратились к нему. Парень растерянно сделал было шаг назад, но стоящий рядом цыган постарше, смеясь, удержал его за плечи. Мальчишка покраснел и, буркнув что-то сердитое, неловко почесал встрёпанную голову. Было заметно, что над головой этой перед выступлением предпринимались некоторые парикмахерские ухищрения, но и гребень, и помада оказались бессильными перед напором крутых, иссиня-чёрных кудрей, к концу вечера привычно принявших вид прошлогоднего вороньего гнезда. Стоящая рядом Дина с некоторым раздражением провела ладонью по голове парня:

– Горе ты наше, Сенька, подколёсное – хоть граблями тебя чеши...

– Чего ты, дура? Уйди... – огрызнулся тот, отстраняясь. Теперь у него горели малиновым пламенем не только скулы, но и уши.

– Дикий он у нас, господа, – улыбаясь, пояснила Дина юнкерам. – Вот, позвольте представить, мой брат двоюродный, Семён Петрович – цыган! Уж этот, поверьте, настоящий! Неделью назад по лошадиным делам в Москву приехал, к отцу, – так мы его едва уговорили с нами спеть нынче! И то потому только согласился, что свой навар возьмёт. Они ведь, таборные, господа, куда какие гордые, за деньги не поют, не то что мы тут, грешные...

– Дина, зачем ты так... – с укоризной сказала княжна Мери, одновременно ловя за рукав метнувшегося было к дверям Сеньку. – А ты куда?! Подожди, вот ведь, в самом деле, гордый какой...

Сенька остался, хотя и видно было, что сделал он это с величайшим трудом. Дина усмехнулась. Мери сочувственно посмотрела на смущённого парня и, взглянув на небо, поспешно проговорила:

– Душно как, господа! И соловьи все умолкли! Верно, гроза будет. Пойдёмте лучше в фанты играть!

– И в самом деле! – спохватились барышни и, увлекая за собой юнкеров и молодых цыган, пёстрой щебечущей стайкой устремились в комнаты. Вскоре на веранде остался один Сенька. Он, оглянувшись, осторожно взял со стола забытый кем-то стакан остывшего чая и одним духом вытянул его. Затем сел на ступеньки, обхватив колени руками и уткнувшись в них подбородком. Некоторое время сидел неподвижно, глядя в темнеющий сад. И вздрогнул, неловко задев край стола и опрокинув пустой стакан, когда сзади кто-то коснулся его плеча.

– Ах ты, чёрт... барышня?!

– Вах, стакан лови!!! Падает!!!

Они с княжной Мери одновременно нагнулись за стаканом, столкнулись лбами, отпрянули друг от друга – и рассмеялись.

– Поймал? – деловито спросила, ещё стоя на четвереньках, девушка.

– А то... – Сенька, облегчённо вздохнув, вскочил на ноги и осторожно поставил на стол, подальше от края, хрустальный чайный стакан. – Дорогой, поди?

– Пустяки, – Мери встала на ноги и с улыбкой посмотрела на парня. – Ну, что, видишь? Ты же выиграл, верно? Ваши цыгане тоже делали ставку на меня? Видишь, никто-никто не догадался, что я не цыганка!

– Оно и верно. Спасибо вам, барышня...

– Ну, вот, глупости какие – «спасибо»... – фыркнула Мери. – Значит, эта чёрная лошадка, Дурка, твоя теперь? Ты её покупаешь за свою собственную цену? Вы так договорились с Фёдором?

– Стало быть, барышня, так, – Сенька не мог скрыть счастливой улыбки. – Только лошадь – она не чёрная, а вороная. Так правильной.

Действительно, накануне Сенька побился об заклад с двоюродным братом Федькой о том, что никто из гостей не угадает в «таборной плясунье Меришке» грузинскую княжну. Только из-за этого парень и согласился сегодня пойти с городскими родственниками в гости и поиграть там на гитаре для господ: ему хотелось самому видеть пляску раклюшки¹⁷ и убедиться, что всё было без обмана.

– Спасибо вам, – повторил он ещё раз.

– «Тебе», а не «вам», – поправила его Мери. – Мне все цыгане говорят «ты», один ты до сих пор церемонничаешь.

Сенька покраснел, ответить не смог, но этого и не понадобилось: Мери заговорила снова:

– Так ты уезжаешь в табор уже завтра?

– Не знаю. Как управлюсь. Изволите видеть, Дурка жеребиться вздумала, так я подожду...

– Дурка? Уже сегодня?! – всплеснула руками Мери. – А... можно мне прийти посмотреть?

– Лучше не надо, – усмехнулся Сенька. – Оно не особенно красиво будет. Вы лучше утром прибегайте, я вам готового жеребчика покажу. Если только вам...

– Тебе!!!

Сенька смутился окончательно, засопел и умолк. Мери, склонив кудрявую, растрёпанную голову к плечу, со вздохом посмотрела на него.

– Ну, если тебе не в тягость мне «выкаты», то и я с тобой буду так же, – она комически подбоченилась и важно прошла взад-вперёд перед Сенькой. – Так что же, Семён Петрович, изволите завтра назад в свой табор отправляться, лошадям хвосты крутить? Весьма даже вам счастливой дороги желаем, уж не забывайте нас, грешных...

Тут Сенька не выдержал и захохотал, шлёпнув себя обеими ладонями по коленям: до того потешно выглядела Мери с высокомерно поджатой нижней губой и сощуренными глазами. Рассмеялась и княжна. Из дома показались несколько девичьих лиц, со значением переглянулись, улыбнулись и вновь исчезли.

– Не заскучаешь с ва... с тобой, – с некоторым усилием выговорил Сенька, успокоившись и вытирая глаза. – Что ж, всамделе пора мне. И так задержался, а у Дурки ночью, наверное, начнётся... Я весь день хожу, смотрю, она уже готовится. Бродит, ложится... Ночью опростается, ей-богу. Я сто раз такое видал.

¹⁷ От «ракли» – девушка-нецыганка.

– Я непременно приду! – предупредила Мери. И тут же огорчилась: – Ой, нет... Я и забыла – брат, Зурико, уезжает завтра утром! Мы с мамой должны его провожать. А ты не уедешь, пока я не вернусь с вокзала?

– Слово даю, подожду, – пообещал Сенька.

– Вот спасибо тебе! – Мери вдруг протянула руку и, прежде чем Сенька сообразил, что она намерена делать, ласково погладила его по волосам. Парень вздрогнул, дёрнулся было в сторону – и замер.

– Прости, – Мери проворно убрала руку. С лёгкой запинкой призналась: – Понимаешь, я все эти дни гадала: как они у тебя так растут... ну... в разные стороны? Наверное, думаю, очень жёсткие, вот и топорщатся... Ужасно хотелось потрогать, но я не смела. Ты не обиделся? Поверь, у меня в мыслях не было...

Сенька молчал, пристально смотря на неё – на этот раз без смущения, без страха. Молчала, не отводя глаз, и озадаченная его взглядом Мери.

– Меришка! Сенька! – вдруг послышался звонкий оклик.

Сенька и Мери, отпрянув друг от друга, обернулись одновременно. Чуть поодаль, у кустов жасмина, стояла и разглядывала их Дина.

– Бог мой, а я-то думала, вы домой ушли... – пожала она плечами. – Мери, тебя там все ждут!

– Я уйду! – Сенька быстро сбежал с крыльца, неся за гриф гитару. – Будьте здоровы, чаялэ!

Когда он скрылся за калиткой, Мери повернулась к подруге:

– Дина, что же ты подкрадываешься, как кошка? Я чуть со страха не умерла! А Сенька и так вскорости прятаться от тебя начнёт. Как тебе не стыдно всё время над ним смеяться? А ещё называется кузина! Послушай, я на него уже неделю смотрю и только сегодня поняла, кого он мне напоминает! Вот сейчас, когда Сенька сидел на ступеньках... Он, ей-богу, похож на Демона! Помнишь Врубеля, мы же вместе с тобой ходили смотреть! Там, где Демон сидит на каком-то камне и... ужасно похож на вашего Сеньку, правда же?

– Ну и что? Эти Смоляковы все такие, на чертей похожие, видала б ты его деда... Да бог с ними совсем! Меришка! – Дина вдруг взволнованно схватила подругу за запястье. – Так что же, Зураб Георгиевич уезжает завтра? Это правда?! Я слышала, как ты говорила с Сенькой...

– Правда, разумеется... – удивлённая Мери смотрела на неё, широко раскрыв глаза. – И это никакой не секрет, все знают. Неужели он только тебе одной не сказал?!

– Нет... – Голос Дины сорвался на шёпот, по лицу скользнула короткая болезненная гримаса. – Нет... Я не думала, что уже завтра... что так скоро...

– Забыл, наверное, – успокаивающе произнесла Мери, обнимая её за плечи. – Мужчины – они таковы.

– Но как же... – договорить Дина не успела. На веранде мелькнул мужской силуэт, и обе девушки вздрогнули, услышав протяжный голос:

– Надежда Яковлевна, Мери Давидовна, вы здесь? Вас все ждут.

– Сию минуту, Алексей Романович, – сквозь зубы ответила Дина перегнувшись через перила Шукину. – Извините, что вам беспокоиться пришлось. Хотелось подышать...

– Чем? – усмехнулся Шукин, посмотрев на небо. – Воздух тяжёл сегодня, ночью будет гроза. Вероятно, вы здесь ждали кого-то? И, скорее всего, не меня?

Дина надменно молчала, глядя на цветы жасмина. Мери, мельком улыбнувшись Шукину, пробежала мимо него и скрылась в освещённой комнате, откуда слышались смех и шутки гостей. Молодой человек подошёл к Дине.

– Позвольте предложить вам руку?

– Не стоит, благодарю, – без улыбки сказала та, обходя юнкера и порывисто поднимаясь мимо него на крыльцо. Шукин проводил цыганку тяжёлым взглядом из-под толстых век. Снова криво улыбнулся углом рта и последовал за ней.

В фанты играли, рассевшись всей компанией за огромным круглым столом. Поручик Дадешкелиани попытался уклониться от этой забавы и сбежать ко взрослым гостям, но барышни подняли такой писк, что он, смущённо улыбнувшись и пожав широкими плечами, вынужден был остаться. Записки с именами присутствующих торжественно положили в фуражку хозяина дома, которую держала в руках Таня Шукина. Когда Дина и Шукин вошли на веранду, юнкер Солонцов под истерический смех всего собрания изображал, согласно выпавшему фанту, царицу Савскую, соблазняющую Соломона. Соломоном был покрытый пылью бюст Мольера, специально для этой цели снятый со шкафа, и княжна Мери, запрокинув голову с растрёпанными косами, хохотала так, что звенела посуда в старинной горке. Остальные уже отсмеялись и попрятали носовые платки, уже водворили обратно на шкаф Мольера, уже Дина села рядом с княжной, кинув в фуражку записку со своим именем и сердито дёрнув подругу за рукав, а Мери всё не могла совладать с собой и то и дело принималась хохотать.

– Меришка, ну сколько можно! – недовольно произнесла наконец Дина. – Посмотри, все сидят и дожидаются, когда ты уймёшься! Твоя очередь называть фанты! Если не можешь – давай я вытащу...

– Нет, нет, Диночка, я сейчас... Сию минуту... Ох, Юрий Петрович, умори-или... Вам, право, не в военном училище место, а в цирке... Извините, господа, я уже готова! – Мери наконец справилась с собой, взяла в руки фуражку с фантами. – А этот фант будет... ну, допустим... танцевать танго!

– Мери, ты с ума сошла... – вполголоса сказала ей Дина. – Это неприлично.

– Боже мой, да просто символически! Ничего особенного!

– С кем же танцевать? – улыбаясь, спросил Шукин. – Тоже с вашим Мольером? Увольте...

– Вы – можете с Мольером, коль уж он вам так по сердцу пришёлся! – отрезала Мери. – А любой другой мужчина – с... с нашей Диной!

– Мери!!! – вскочила Дина. – Господа, она ума лишилась! Я – отказываюсь! Танцуй сама, если угодно, а я...

– Позвольте, позвольте, это ведь игра, нельзя отказываться! – тут же послышались бодрые мужские голоса.

– А если выпадет дамский фант? – не унимался Шукин.

– А дама... Дама может выбрать любой танец на своё усмотрение! И любого кавалера из присутствующих!

Против этого возражений не нашлось. Обведя стол роковым взглядом пифии, Мери с нарочито торжественным видом полезла в фуражку... но в это время снова вспомнила усатую царицу Савскую в армейских сапогах, обнимающую Мольера, и прыснула самым неподобающим для пифии образом, чудом не уронив фуражку. Сразу две скрученные бумажки выпали из неё на пол.

– Ой... – растерянно сказала Мери, глядя на них. – Получается, у нас два фанта!

– Пусть танцуют танго друг с другом! – тут же предложил Шукин.

– Ну уж нет! Один, вот этот. – Мери отложила первый фант, – будет танцевать танго с Диной, или другой танец, если это барышня... А другой станет... н-ну, предположим, читать стихи!

– Ску-учно... – пожал плечами Шукин.

– А кто первый, кто же первый, княжна?! – снова весело заволновались молодые люди. – Открывайте, не томите!

– Да как же вы, право, нетерпеливы, господа! – Мери нарочито медленно развернула фант. – Ну вот... Ой, Зурико, это твой!

Поручик Дадешкелиани неловко поднялся из-за стола. На Дину он даже не посмотрел, но та повернулась к нему столь порывистым движением, что на неё оглянулись все собравшиеся. Опомнившись, девушка опустила ресницы. Сквозь зубы, вся звеня от негодования, произнесла:

– Воля ваша, господа, я этим заниматься не намерена.

– А второй фант ваш, Алексей Романович, – растерянно проговорила Мери, протягивая бумажку Щукину. – Вот и хорошо. Вы много стихов знаете... Развлечёте нас.

Щукин молча пожал плечами. Искоса посмотрел на Дину... и вдруг, обернувшись к стоящему рядом с ней Дадешкелиани, громко попросил:

– А давайте меняться фантами, поручик?! Правила это допускают, не так ли, Мери Давидовна?

Дина чуть слышно негодуя ахнула. Мери была растеряна. За столом смолкли разговоры и смешки: другие участники игры смотрели на бледное, возмущённое лицо молодой цыганки, на неподвижного, как статуя, Дадешкелиани и насмешливую, неприятную физиономию Щукина.

Ко всеобщему удивлению, поручик, после недолгого молчания, кивнул:

– Пожалуй, Щукин... Я танцевать никогда толком не умел... тем более танго. А стихи какие-то худо-бедно помню.

С губ Дины сорвался странный вздох – не то облегчения, не то досады. Мери укоризненно посмотрела на своего кузена и чуть заметно покачала головой. Тот сделал вид, что не заметил этого. Вздыхнув, медленно потёр кулаком лоб.

– Так что стихи, поручик? – весело поинтересовался Солонцов.

– Да вот же я и вспоминаю... Признаться, последний раз читал стихи ещё в училище, так что, милые дамы, не судите строго...

– Блока! Надсона! – полетело со всех сторон. – Мирру Лохвицкую, поручик! Гиппиус!

– Или мне обеспечивают тишину, или, ей-богу, начну читать «Евгения Онегина»! Всего! – сурово предупредил Дадешкелиани, и молодые люди испуганно смолкли. Поручик глубоко вздохнул, посмотрел в окно, где над кустами жасмина уже сходились тяжёлые дождевые облака, и негромко начал:

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса.
Есть и непознанная сила,
Есть и нетленная краса,

И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живёт,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдёт...

– А далее, дамы, уж простите, не помню, – виновато улыбнулся поручик. И, нахмутив брови, обернулся, когда Дина, не поднимая глаз, спокойным, ровным голосом дочитала:

Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать,

Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел...

– Благодарю вас, Надежда Яковлевна, – сдержанно сказал Дадешкелиани, когда аплодисменты смолкли.

– Не стоит, Зураб Георгиевич, – в тон ответила она. И, поднявшись, направилась к выходу.

– Надежда Яковлевна! Пойдите! – крикнул ей вслед Щукин. – А как же мой фант?! Вы должны мне танго!

– В другой раз, Алексей Романович! – не оборачиваясь, пообещала она.

– Дина!!! – укоризненно крикнула ей вслед Мери. – Вернись, так нечестно! Алексей Романович выиграл этот фант! Ну, если не хочешь танго, танцуй хоть вальс, но...

Дина обернулась на пороге. Звонко, на всю веранду объявила:

– Меришка, ту на патяса, сыр лэстэ муястыр кхандэл! На камам, и саро!¹⁸

– Дина, как ты можешь!!! – возмущённо всплеснула руками Мери, но цыганки уже и след простыл.

– Что, что, что она сказала?! – слышались изумлённые вопросы. – Мери, вы ведь понимаете по-цыгански, что Дина имела в виду?!

– Ничего особенного... – пролепетала девушка, бросая осторожные взгляды в сторону Щукина, у которого был такой вид, словно его прилюдно ударили по лицу.

– Простите, Алексей Романович... – прошептала Мери, покраснев до слёз. – Я... Дина, я уверена, не считает... Она не знала, что вы тоже... что вы можете понять...

– Оставьте, княжна. Я не первый день живу на Живодёрке, – сухо произнёс Щукин. Встал, коротко поклонился всей компании и вышел из комнаты.

Игра в фанты уже никого не интересовала, барышни и молодые люди принялись взахлёб обсуждать случившееся. На Мери – единственную, кто, кроме Щукина, понял сказанное Диной, – надели со всех сторон, бедная княжна отмахивалась и уверяла, что ничего не поняла, ни единого слова... Никто не заметил, как с веранды исчез Зураб Дадешкелиани.

Было уже довольно поздно, и над старым, запущенным, заросшим крапивой и хмелем садом поднялась ущербная жёлтая луна. Со стороны Петровского парка доносились нестройные завывания какой-то блудной гармонии, под которую несколько пьяных голосов вразброд, но с чувством исполняли «Дубинушку». С другой стороны, из-за купола церкви великомученика Григория, поднималось, наползая на нежную сиреневую дымку неба, черно-сизое облако: на Москву шла гроза, и над Бутырской заставой уже раздавалось едва слышное угрожающее рокотание. В загустевшем воздухе теперь не слышалось даже жужжания комаров. Только в дальнем конце сада, в запущенном малиннике, ещё щёлкал-заливался одинокий соловей.

Дадешкелиани быстро сошёл со ступенек веранды, осмотрелся. Вокруг было тихо. Он вполголоса позвал:

– Дина! Дина, вы здесь?

Ответа не было. Поручик довольно долго стоял не двигаясь, всматриваясь в синеющие сумерки, но в саду по-прежнему царила тишина. Дадешкелиани тихо, с нескрываемой досадой выругался, достал папиросы, зажёл одну. И, вздрогнув, чуть не выронил её, когда совсем рядом знакомый резкий голос приказал:

– Погасите, ради Христа, я не могу больше этого нюхать!

¹⁸ Меришка, ты не поверишь, как у него изо рта воняет! Не хочу, и всё!

– Дина! – Дадешкелиани поспешно загасил папиросу. Подошёл к цыганке, стоящей в двух шагах, за кустом жасмина. – Вы меня, признаться, напугали. Зачем вы спрятались?

– Затем, что собиралась идти домой! – отчеканила Дина. – И не успела, к прискорбию! Вам что-то угодно от меня?

– Нет... То есть да. Отчего вы убежали от гостей? Я вас обидел?

– Ничуть. Это ведь была просто игра, не так ли? – пожала плечами Дина. Несколько белых лепестков жасмина упали на её рукав, она не глядя смахнула их.

– Мне показалось, что вы вовсе не хотите танцевать, – осторожно проговорил Зураб.

– Совершенно правильно показалось, – отрезала она, отворачиваясь. – Ни с вами, ни с этим несносным Щукиным. Мери с ума сошла, когда выдумала такой глупый фант. Извините меня, Зураб Георгиевич, мне в самом деле пора идти. Наши все уже убежали, бросили меня, а что отец подумает? Вы меня проводите? – Дина обогнула жасминовый куст и вышла на широкую песчаную дорожку, ведущую к калитке. Поручик последовал за девушкой.

– А вот стихи вы читаете хорошо, – вдруг сказала Дина.

Зураб усмехнулся:

– Вы мне, право, льстите... Никогда их не читал, не знал и толком выучить не мог. И сегодняшний вечер – тому доказательство.

– А пугали «Евгением Онегиным»!

– Блефовал безбожно. Вспомнил с грехом пополам Тютчева, которого ещё в кадетском корпусе зубрил... и то позорно не сумел дочитать до конца. Слава богу, вы меня спасли...

– А я, признаться, всё думала, что же сама буду читать, если выпадет мой фант... – Дина в задумчивости то бралась за кольцо калитки, то выпускала его из рук, и колечко тихо позванивало о металлические прутья. – И, не поверите, ничего в голову не лезло! Только одно, и то короткое...

– Какое же? – тихо спросил Зураб, выйдя за калитку и оказавшись таким образом лицом к лицу с Диной. Та не отстранилась. Глядя прямо в глаза поручика, медленно, без запинки произнесла:

– «Хочешь знать, как всё это было? Три в столовой пробило. И, прощаясь, держась за перила, она словно с трудом говорила: «Это всё... Ах, нет, я забыла. Я люблю вас, я вас любила ещё тогда...»

– «Да...» – машинально закончил Дадешкелиани. – Это Ахматова?

– Вы тоже знаете? – одними губами прошептала Дина. – А говорите – не понимаете стихов... Впрочем, это неважно. Скажите, почему вы скрыли от меня свой отъезд?

– Я – скрыл?..

– Именно вы! Скрыли! И намеренно! Что же вы теперь отворачиваетесь?! Я узнала об этом полчаса назад, случайно! Вам не стыдно?!

– Ну, что ж... Это, верно, и к лучшему, – глядя на свои сапоги и с силой сжимая ни в чём не повинный прут калитки, медленно выговорил поручик. – Коль уж вам всё известно, лучше будет нам попрощаться сейчас. Поезд отходит рано утром, я едва ли успею зайти в Большой дом.

– Но, Зураб Георгиевич!..

– Я возвращаюсь на войну. Может быть, мы с вами более не увидимся. Не поминайте лихом, Дина. Прощайте. – Дадешкелиани отпустил наконец калитку и быстро пошёл прочь. И не удивился, услышав за собой торопливые шаги. Он остановился, почувствовав, как тонкие, но крепкие пальцы ловят его руку.

– Зураб Георгиевич! Да подождите же! Повернитесь ко мне, это ведь невежливо, в конце концов! Чем я заслужила такое обращение?!

Зураб повернулся. Серые, полные слёз глаза девушки смотрели на него в упор.

– Дина, но чего же ещё?

– Я... я могла бы писать вам... – прошептала она. Две мокрые дорожки уже бежали по её щекам. – У Мери есть адрес вашей части... Разумеется, если вы позволите...

– Признаться, мне бы этого не хотелось, – не поднимая глаз, сказал Дадешкелиани. В висках стучал жар, и он был всей душой благодарен грозовой туче, накрывшей притихший сад темнотой.

– Зураб!..

– Прощайте, Дина.

– Но как же так...

– Простите меня. Я спешу. – Поручик повернулся и быстро, почти бегом, пошёл прочь.

Дина осталась у калитки, неподвижная и тоненькая, с прижатыми к груди руками. Она не плакала – только часто-часто дышала, словно преодолевая страшную боль. В эту минуту розовая бледная вспышка озарила весь сад, с паническим щебетом поднялись над малинником птицы, зазвенели стекла в окнах веранды, из дома послышались испуганные возгласы. Вздвигнувшись, Дина посмотрела на освещённый дом, неловким движением вытерла слёзы и опрометью бросилась за калитку.

Через сад пробежал короткий ветерок, и по листьям забарабанили первые капли. Почти сразу же змеящаяся молния вспорола сумрачное, низко нависшее небо, над Петровским парком яростно загремело, капли западали чаще, звонче, и, когда княжна Мери, кое-как прикрываясь накидкой, сбежала по крыльцу в сад, внизу, на песчаной дорожке, уже успела образоваться бурлящая пузырями лужа.

– Ах ты, господи! – воскликнула девушка, неловко прыгая прямо в лужу и поднимая фонтан брызг. – Опоздать не доставало...

– Мери Давидовна, куда вы так спешите?! – Солонцов выбежал за ней и отважно обрушился в ту же самую лужу, обдав рассмеявшуюся девушку мутной волной. – Ах, простите, ради бога...

– Пустяки, я всё равно уже вся мокрая и платью конец! – беспечно произнесла Мери, сбрасывая с головы отяжелевшую от воды накидку. – Возвращайтесь в дом, Юрий Петрович, там сейчас начнутся танцы, а мне пора.

– Куда же вы убегаете? Ещё так рано!

– В ресторан, сегодня у меня выход, – Мери быстро шла, почти бежала по дорожке к калитке, за которую минуту назад умчалась Дина; Солонцов едва поспевал за княжной.

– Позвольте мне вас проводить! Хотя бы до Большого дома!

– Ну, если вам так уж угодно вымокнуть до нитки... Живей, живей, господин Солонцов, мне ещё переодеться!

Вдвоём, держась за руки и смеясь, молодые люди пустились вниз по улице.

– Мери Давидовна, как сказать по-цыгански «сильный дождь»?

– Брышынды баро!

– Как смешно... А «добрый день»?

– Лачо дэвэс!

– А... А «я вас люблю»?

– Выджя палором пал мандэ!¹⁹

– О, нет, нет, тут вы лукавите! Это, верно, что-нибудь другое означает?

– Сначала ответьте, какую цыганку вы намерены соблазнить! Цыганские девушки весьма переборчивы, господин Солонцов! Ах, осторожнее, тут лужа выше колен, просто утонуть можно! Ай, нет, не надо меня нести, я сама, я умею... Ох, благодарю! Ей-богу, хуже чем в Тифлисе в Нижнем городе, а ещё Первопрестольная!

¹⁹ Выходи за меня замуж!

Улочку Живодёрку в Москве называли цыганской: здесь традиционно селились хорové цыгане, выступавшие по вечерам в знаменитых ресторанах Петровского парка. Живодёрка была кривой, грязной, немощёной; перерезавшую её надвое огромную, поросшую по краям осокой лужу, в которой косяками плавали утки и гуси, с полным правом иногда называли прудом. В пыли вдоль заборов валялись поросята и собаки, копошились куры. Домики были низкими, старыми, разваливающимися. Похвастаться некоторой солидностью могли лишь три строения на всю Живодёрку: бесформенный доходный дом Щукиных, опутанный, как паутиной, разнообразными пристройками, галереями и выходами, публичный дом мадам Востряковой и дом цыган Дмитриевых.

– Всё, я опоздала... И причёски нет... И платья... И мокрая, как мышь под веником... Бо-о-оже, меня Яков Дмитрич сейчас убьёт! – ужасалась на бегу княжна, но на её резковатом, горбоносом, как у кузена, смуглом лице была такая широкая улыбка, что Солонцов не мог не улыбаться в ответ.

– Как вы попали к цыганам, Мери Давидовна? Я пытался расспрашивать Дадешкелиани, но он молчит... и вообще, кажется, не особенно расположен к разговорам нынче.

– Ах, да очень просто, неужели вы ещё не знаете?! – Мери, подобрав юбку, ловко перескочила через буро-рыжее озерцо грязи. – Моя мама – Анна Снежная! Бывшая примадонна местного хора!

– Так это правда?! – поразился юнкер. – А я был уверен, что Щукин просто интригует, рассказывая всем о вашей маме...

– Истинная правда! Её знала вся Москва! – с гордостью заверила Мери. – Я, с одной стороны, жалею, что на маму не похожа ничуть – она, знаете ли, такая великолепная blonde, мужчины до сих пор не могут глаз отвести... Я вас познакомлю, и вы сами убедитесь! А с другой стороны – я уродилась в отца, и многие, как видите, уверены, что я не грузинка, а всамделишная цыганка!

– Так это матушка вас всему научила?

– Отчасти да. Ну и, кроме того, я ведь уже полгода живу здесь, в Москве, на Живодёрке. После смерти отца мы с мамой чуть с ума не сошли. И вдруг – это московское наследство... Мы решили поехать посмотреть – а вышло так, что остались насовсем.

– Революция?... – брезгливо предположил Солонцов.

– Она самая, – в тон ему ответила Мери. – Как же теперь возвращаться, если на дорогах творится бог знает что и в Тифлисе такие же беспорядки, как везде. Здесь мы, по крайней мере, среди своих...

– Это вы цыган имеете в виду? – улыбнулся Солонцов.

– Разумеется! Маму здесь все помнят, мы и поселились сразу же в Большом доме, поскольку у нас тут... Да вот же, взгляните сами! Вот оно – мамино наследство! – фыркнув от неудачно подавленного смеха, Мери показала на бесформенное, несуразное двухэтажное строение за неожиданно новым забором, подпирающим живую изгородь из сирени и шиповника. Над покосившимся крыльцом дома призывно мигал красный фонарик, дверь то и дело хлопала и отворялась, выпуская наружу бравурную фортепьянную музыку, громкий смех и женский визг.

– Но это же... – даже в полумраке было заметно, как покраснел Солонцов. – Позвольте, мне это... м-м... заведение очень хорошо знакомо. Ещё, помнится, в кадетах... Чёрт... Чёрт, чёрт, что я несу, простите, ради бога, Мери Давидовна! Мы совсем одичали после лагерей...

– Ну, что вы, Юрий Петрович... – тихо рассмеялась Мери, глядя на смущённого до крайности юнкера. – Я же, по крайней мере, не стыжусь признаваться, что моим приданым будет публичный дом! А уж вашему-то брату мужчине и подавно нечего стесняться. Вы, надо полагать, были знакомы с маминой покойной тётушкой?

– Как же, само собой... – пробормотал Солонцов. – Весьма достойная была дама... Даная Тихоновна, если не ошибаюсь? Кто бы мог подумать, что я буду... иметь, как говорится, счастье... оказаться знакомым с её внучатой племянницей...

– А вот я тётю Данаю никогда не видела, – пожала плечами Мери. – Мы приехали после того, как она умерла... Кстати, не хотите ли зайти? Я бы вас познакомила с мамой!

– Ради бога, княжна, не сегодня! – взмолился юнкер. – Я, признаться, не готов... И мокрый, как курица... Недопустимо в таком растерзанном виде представляться самой Анне Снежной, княгине Дадешкелиани, и...

– Юнкер, юнкер, фи!.. Чины ещё в феврале отменили! Впрочем, вы правы, лучше в другой день. Я уже и так безнадёжно опоздала! – И Мери, отвернувшись от своего «приданого», снова побежала по Живодёрке. Солонцов, на ходу отряхивая мокрую, потерявшую всякий вид фуражку, устремился за ней.

Бежать, впрочем, было недалеко: сразу за изгибом петляющей улочки показался Большой дом – двухэтажный, с мезонином, с облупившейся, почти совсем облезшей голубой краской на стенах, утопающий в кустах сирени. Одно окно нижнего этажа, несмотря на ливень, оказалось раскрыто настежь, и оттуда доносилась энергичная мужская ругань на цыганском языке.

– А-а, это Яков Дмитрич, наш хореvod, – сообщила Мери в ответ на молчаливый вопрос Солонцова. – Наверное, с тётей Дашей ругается, – она прислушалась к потоку непонятных для юнкера слов, кивнула головой и улыбнулась: – Ну, конечно! Опять из-за Дины! Вообразите, она гимназию заканчивает с разрешения мамы, и Яков Дмитрич до сих пор по этому поводу успокоиться не может! Уверяет, что теперь её никто не возьмёт замуж!

– Надежду Яковлевну?! – возмутился Солонцов. – Да как же можно такое предполагать! Я убеждён, стоит мадемуазель Дмитриевой только пожелать – и всё Александровское военное училище будет у её ног!

– Ах, нет же, русские – разумеется, но Яков Дмитрич имеет в виду цыган. Он не хочет для Дины русского мужа, у цыган, видите ли, с этим строго... – Мери рассмеялась. – Эти люди очень и очень настороженно относятся к женскому образованию.

– Они где-то правы, – солидно подтвердил Солонцов. – Как мой дедушка говаривал, образованная дама – считай что на три четверти кавалер!

– Вот видите, видите, даже вы!.. – притворно рассердилась Мери. – А наша Дина, между прочим, во всех семи классах прекрасно училась! Прочла книг в десять раз больше меня! Вы слышали, как сегодня она дочитывала стихи вместо Зурико? И старшие братья её заканчивали, кажется, реальное училище на Садовой...

– Меришка, конэса ту ракирэс, заджя, чеинэ тэ традэс!²⁰ – внезапно раздался женский голос из раскрытого окна.

– Ах, это меня зовут! – спохватилась Мери. – Прощайте, юнкер, была очень рада знакомству, спасибо, что проводили... ещё увидимся! Заходите в гости, попросту, без церемоний!

Солонцов не успел и рта открыть – а смеющаяся, мокрая насквозь, с прилипшими к лицу кудрявыми прядями княжна скрылась за дверью. Вопли из открытого окна неслись по-прежнему. Некоторое время Солонцов прислушивался к ним, стоя у забора и чему-то улыбаясь. Затем вздохнул и не спеша пошёл прочь под всё усиливающимся дождём. Только на Садовой он обнаружил, что довольно громко напевает «Сидел Ваня на диване» и редкие прохожие, улыбаясь, провожают его взглядами.

Дом цыган Дмитриевых на Живодёрке с незапамятных времён называли Большим домом: здесь ещё в минувшем столетии жила семья хорового дирижёра Якова Васильева. Когда тот умер, хор перешёл к его племяннику, известному на весь город Митро Дмитриеву. А несколько лет назад, когда стало очевидно, что деду Митро, разменявшему седьмой десяток,

²⁰ Меришка, с кем ты разговариваешь, заходи, пора ехать!

уже тяжелы шумные ночи в ресторанах и на гвардейских квартирах, хором начал руководить его сын Яков, которому этой весной минуло тридцать девять. Сыновья Якова третий год пропадали на фронтах; старшая дочь, вышедшая замуж, пела с супругом в петроградской «Вилле Родэ», младшая Дина жила вместе с родителями. Кроме семьи хоревода, в доме обитало множество племянников, невесток, двоюродных сестёр и братьев, бабок, тёток, дядек и не подлежащий исчислению выводок разновозрастных детей. Ещё несколько цыганских семей жили в соседних домах. Всё это шумное, пёстрое, смуглое общество пело вечерами в ресторане, мужчины иногда крутились на Конном рынке, меняя и продавая лошадей, некоторые из женщин гадали. Но в последнее время все разговоры в цыганском доме сводились к одному: в ресторанах пусто, доходы падают, чем кормить детей – непонятно, и, по видимости, грядёт конец света.

«Всю жизнь он у вас грядёт, пустобрёхи, – сурово говорил дед Митро, седой кряжистый старик с татарской узкоглазой физиономией, которого до сих пор побаивались и млад и стар в Большом доме. – Как чуть что не по ним – ахти, господи, конец света, помирать пора! Гробы-то закупили уж? Нет?! Ну так и идите с божьей помощью глотки драть, покуда дерутся! Настоящие цыгане и опосля светопреставления не пропадут! Лошади, что ли, все на Конном переложились?»

Цыгане не спорили, но между собой втихомолку ворчали, что деду, конечно, легко ругаться: и он, и его сын Яков были закоренелыми лошадиниками, и работа в хоре ничуть не отвлекала их от главного цыганского занятия – мены и торговли лошадьми.

Мери не ошиблась: когда она вошла в Большой дом, в нижнем зале оказалась в полном разгаре очередная ссора хоревода с супругой. Скандал шёл обычным, накатанным путём: Яков, стоя посреди зала возле расстроенного ещё в минувшем веке рояля, вдохновенно орал на весь дом отлично поставленным рокошующим басом, Дина – бледная, с закрытыми глазами – сидела, поджав под себя ноги, в старом кресле, а её мать, знаменитое контральто Дарья Ильинишна, пришедшая в хор двадцать лет назад из кочевого табора, непринуждённо сворачивала на столе огромную, переливающуюся шаль, прикидывая, как лучше донести её до ресторана и при этом не намочить. Тёмно-смуглое, словно навеки сожжённое давним степным загаром, спокойное и красивое лицо женщины казалось совершенно безмятежным. Никому из цыган ещё не приходилось видеть, как выходит из себя жена хоревода, и тем более не мог добиться этого от неё супруг. Однако Яков, судя по всему, ещё не терял надежды.

– Ну, и что ты мне молчишь?! Что ты мне, проклятая, молчишь, аки столб соляной?! Я ведь тебе говорил?! Говорил аль нет, отвечай! Ещё когда говорил, дура несчастная!

– Говорил, Яша, говорил...

– Вот тебе теперь, пожалуйста! Выучила девку на свою голову, она умная стала, учёная! Ученей отца с матерью! Книжками комната до потолка забита, на всю зиму отопляться хватит! В ресторан ехать эта барышня уже брезгает!

– Куда же ей, Яша, ехать, если она горит вся, в жару...

– От дури своей и горит! Говорил – сиди дома, не шлейся по гостям, к вечеру грозой ударит, под дождь попадёшь, говорил аль нет?!

– Говорил, Яшенька...

– Оно конечно! Ресторан такой барышне великообразумной без надобности! Она у нас профессор ниверситетский, она книжки читать обучена, ей цыганский хлеб поперёк горла! Ей, видишь ли, кривляться перед пьянью невестно! Какого чёрта сватов опять завернули, я спрашиваю?!

– Ты сам и завернул...

– Знамо дело!!! Ещё б не завернул! Не позориться ж с этой распроучёной перед цыганами-то! С неё ведь станется прилюдно объявить, что за дурака не пойдёт! Ей, видишь ли, хоровые уж не в пару, ей барина-господина подавай! Вот ей-богу, доведёте вы меня, лопнет мой терпёж – и я эту барышню кисельную в табор отдам! За кочевого, закорённого отдам! С

родней твоей договорюсь – и отдам! Ежели, конечно, возьмут ещё, принцессу эту... Станет босиком, в драной юбке по деревням побираться, коли ей в ресторане кисло!

– Как велишь, так и будет. Не кричи, сам голос сорвёшь. Меришка, это ты?! – Дарья, закончив складывать шаль, повернулась к вбежавшей княжне. – Живо переодевайся, наши собрались уже!

– Сейчас, Дарья Ильинишна... – Мери опрометью бросилась наверх.

Дина, поднявшись и вздёрнув подбородок, не спеша отправилась за ней. Дарья проводила дочь обеспокоенным взглядом. Покосился вслед и Яков, проворчав:

– Вон... благоволите... Раклюшка впереди цыганки в ресторан на заработок скачет! Дожили, ромалэ...

Дарья положила скатанную шаль на стул, подошла к мужу. Вполголоса сказала:

– Не гневил бы бога-то. На Динку одну полресторана приезжает.

– А я разве чего?... – перевёл дух Яков. – Того и жаль, что таланная. Была б без огня – пусть бы хоть с утра до ночи с книжками сидела...

– Ехать пора, Яша.

– Ну, так и поедem!!! Опять из-за тебя два часа провозились, хоть бы раз вовремя собралась, чёртова кукла! Понавязались на мою голову, тьфу!

Яков быстро вышел из комнаты, Дарья улыбнулась ему вслед, отошла к зеркалу поправить причёску – и минуту спустя зал начал наполняться цыганами, благоразумно попрятавшимися по углам во время семейной грозы. Все обитатели Большого дома от мала до велика знали, кто главный в семье Дмитриевых, но и попадаться под горячую руку хореводу тоже никому не хотелось.

Мери не приукрашивала, рассказывая Солонцову о том, что её мать знала вся Москва. Княгиня Дадешкелиани в молодости была знаменитейшей ресторанной примадонной Анной Снежной. Многие в Москве помнили неповторимый, чистый и звонкий голос русской девушки из цыганского хора, тяжёлый узел светлых волос, великолепные плечи в низком вырезе чёрного платья, усталый поворот головы и романс «Хризантемы», который, после того, как его запела Анна Снежная, загремел на обе столицы. Мало кто из поклонников певицы знал, что Анна Снежная ещё несколько лет назад была просто Анюткой Сапожниковой, племянницей «мадам», содержавшей известный в Грузинах публичный дом. Выросшая на Живодёрке, с малолетства бегавшая вместе с цыганскими ребятишками, Анютка отлично говорила по-цыгански, пела весь ресторанный репертуар, и тогдашний дирижёр всерьёз уговаривал русскую девочку поступить к нему в хор. В семнадцать лет она так и сделала, влюбившись в цыганского парня и выйдя за него замуж.

Брак этот был случайным, несчастливым и не очень долгим. Через пять лет Анютка – к тому времени уже знаменитая Анна Снежная – уехала на Кавказ с князем Давидом Дадешкелиани. Брошенный муж Анны не особенно печалился по этому поводу, вскоре женился на цыганке, и об Анне, как уверяли многие, никогда больше не вспоминал.

Мери боготворила мать не меньше, чем отца. С одиннадцати лет, глядя в зеркало на собственную смуглую и живую мордашку, девочка мысленно сравнивала свою внешность с блистательной красотой матери и грустно вздыхала. Высокая, стройная, с бледным, слегка надменным лицом, княгиня Анна имела, казалось, власть над временем. Прожив с мужем пятнадцать лет в Тифлисе, Анна свободно входила в лучшие гостинные грузинской столицы, никто так и не смог догадаться, что княгиня Дадешкелиани с малых лет служила горничной в публичном доме тётки и что она закончила всего три класса церковно-приходской школы.

С малых лет Мери любила голос матери. Оставив жизнь ресторанной певицы, Анна не сумела отказаться от пения и пела всегда: дома, помогая кухарке варить варенье или занимаясь хозяйственными расчётами; в гостях, под рояль, перед восторженными слушателями, собирая

под окнами толпы восхищённых тифлисцев; вечером, укладывая спать маленькую дочь, утром, просыпаясь... Мери слушала романсы Анны, повторяла их вслед за ней и краснела от удовольствия, слыша изумлённый и радостный голос матери: «Мерико, да у тебя ведь способности, тебе надо учиться петь!»

Иногда Анна, забывшись, пела по-цыгански. Малышка-дочь вцеплялась в неё, требуя объяснить слова, рассказать... Сначала Анна отмахивалась, сердилась или переводила разговор на другое. Потом, видя, что отвязаться от дочери невозможно, объясняла ей то или иное цыганское слово или целую фразу. У Мери была великолепная память и способности к языкам: помимо гимназических французского и немецкого, она с лёгкостью говорила на грузинском, мегрельском и сванском языках. К этому букету вскоре, естественно, добавился и цыганский. Впрочем, оттачивать его Мери было негде: цыгане в Тифлис приезжали редко.

Когда дочери исполнилось лет двенадцать, Анна – всё так же забавы ради – показала ей несколько танцевальных движений цыганок. Салонная «венгерка», которой блистали цыганские плясуньи в Москве, произвела на Мери огромное впечатление, и она – от природы пластичная, с прекрасным чувством ритма, лучшая ученица в классе танцев – мгновенно схватила и медленные, чинные «проходки», и величавые «батманы», и чечётки, и «голубочки», и сводящую с ума «поводку плечиком». С тех пор юную княжну Дадешкелиани рвали на части во время гимназических концертов, благотворительных базаров и просто семейных праздников, где устраивались спектакли и «живые картины». Мери собственноручно сшила из алого шёлка юбку цыганской плясуньи, и на каждом гимназическом концерте танец девочки имел феерический успех.

Мать и дочь стали очень близки в эти годы. Иногда они до утра просиживали обнявшись на смятой постели, и Анна рассказывала о своей жизни до встречи с князем Дадешкелиани. О далёкой, шумной и радостной Москве, о сияющих огнях ресторана, о цыганском хоре, известном всей столице. О цыганках, так не похожих на тех загорелых, крикливых побирушек, которые иногда появлялись на пыльных улицах Тифлиса с узлами через плечо и грязными детьми. О солистках, ни разу в жизни не ступавших на землю босой ногой, затянутых в шёлковые и бархатные платья, в жемчужных ожерельях и персидских шالях. О миллионах, летевших под каблуки цыганским танцовщицам, о бессонных ночах в чаду пьяного угара, о промотанных состояниях, о загубленных судьбах, о невозможных мезальянсах, потрясавших свет, когда графы и князья влюблялись насмерть в чёрные глаза очередной Маши или Саши. О том, что именно такой мезальянс произошёл между хоровой певицей Анной Снежной и князем Давидом Дадешкелиани, княгиня предпочла умолчать, но Мери этого не заметила. Она пытливо и восхищённо заглядывала в лицо матери:

– Но... как же ты смогла оставить всё это? Такую жизнь, таких людей? Как ты смогла уйти? Бросить всё?

– Во-первых, Мерико, я очень любила твоего отца. Во-вторых... ничего замечательного в этой жизни не было. Ресторан, чеми сакварела²¹, – он и есть ресторан. Ты поёшь, а другие в то время жр... едят, вот и всё. Просто ты ещё очень молода, тебе это кажется ужасно романтическим, и потому ты не можешь понять...

– Тебе не было жаль уходить от цыган?!

– Ничуть, – искренне отвечала княгиня.

– Не понимаю... В самом деле не понимаю, – задумчиво говорила Мери. – Мама, милая, обещай, что когда-нибудь мы поедем туда!

– Конечно, девочка моя, я обещаю.

Тогда княгиня и подумать не могла, при каких обстоятельствах ей придётся выполнять своё обещание.

²¹ Моя любимая (груз.).

В четырнадцатом году, когда началась война, для семьи Дадешкелиани наступили тяжёлые времена. В первые же дни войны был убит отец Мери. Спустя месяц пришло известие о героической гибели старшего её кузена Тенго: ему исполнилось всего двадцать три. Зураб, окончивший в тот год юнкерское училище в Москве, отправился на Западный фронт, даже не сумев ни с кем повидаться. Анна и Мери остались одни в Тифлисе, в огромном, опустевшем доме.

Вспоминая позже эти чёрные дни, княгиня думала о том, что, не будь рядом дочери, она, вероятно, сошла бы с ума. Дато, любимый муж, человек, без которого она не мыслила своей жизни, покинул её навсегда. Думая о том, что Дато умирал без близких, без родных, на госпитальной койке и что она, жена, не может даже поплакать на его могиле, которая где-то на австрийской границе, Анна чувствовала, что у неё мутится разум. Мери, разом повзрослевшая в то страшное лето, похудевшая, осунувшаяся, ещё более чем прежде напоминавшая отца, не отходила от матери. Иногда они часами сидели обнявшись, не плача и не разговаривая, на крытой ковром тахте в комнате Анны, иногда запирались в кабинете Давида и перебирали старые письма и фотографии, иногда бродили по окрестностям, говоря об отце и кузене Тенго. Впрочем, гулять в последнее время становилось всё опаснее: старая прислуга напрямую предупреждала о том, что господам было бы лучше не отходить далеко от дома и верных людей. В Тифлисе всё сильнее становились беспорядки, до Анны доносились тревожные слухи о народных волнениях, голод в селениях рождал бунты, крестьяне громили дома своих господ, и старая Софико, рассказывая об этом барыне, испуганно уверяла, что грядёт настоящий конец света и что добром это не кончится. Княгиня, которая поначалу отмахивалась, в конце концов была вынуждена признать, что если и не конец света, то большие неприятности неизбежны.

В феврале 1917 года громом небесным грянуло известие о революции в Петербурге и отречении царя, а месяцем позже Анна получила письмо, нацарапанное незнакомым корявым почерком. Послание гласило:

«Уважаемой княгине Анне Николаевне Дадшклиани, ураждённой Сапожниковой Аняте. Мы, подписавшиеся, в глубоких горестях уведомляем вашу милость, што тётка ваша мадам Вострякова Даная Тихоновна приказали долго жить и оставили имущество на восемь тыщ и заведение, и завещание в конторе имеется. Так что надобно в делах разобраться, для чево ваша милость в Москву требуеца. А у нас тута вселенский страх и ужась, и в Питере царь-батюшка наш от престола отрёкшись на нашу погибель, и не знаем, что нам грешным таперича делать, и все наши говорят, што жыды виноваты. А Двойра вот наша кажет, што жыдам своих бед хватает и што не еврейское это дело царей менять. Приежайте за-ради Христа, оченно вас дожидаем и всем заведением за вас молимся. В смерти супруга примите нижайшие саблезнованья. Остаёмся завсегда ваши Марья Опёнкина и прочие барышни, клянёмся, што до вашево прибытья никаку сволачь босяческую в заведение ни впустим, в чём и воля покойной мадам была».

Княгиня легко вспомнила Маньку: это была самая молоденькая проститутка, почти девочка, только поступившая в заведение тётки в тот год, когда она, Анна, уехала из Москвы с Давидом. Сейчас ей, как и Анне, видимо, шёл четвёртый десяток. Княгиня не могла восстановить в памяти её лица, но Манькину профессиональную биографию знала прекрасно: тётка Даная Тихоновна ежемесячно слала племяннице на Кавказ длинные письма, в которых подробнейшим образом описывала жизнь своих девиц, а также все новости Живодёрки, грязной цыганской улочки, на которой Анна прожила полжизни.

Той ночью она не спала. Сидела за столом при свете моргающей лампы, перебирала письма мужа, смотрела сухими, горячими глазами на его фотографию, слушала дыхание спящей дочери. Что делать?.. Давида нет, весь доход от имения съели военные займки, едва-едва хватило средств, чтобы оплатить учёбу дочери, Мери уже пятнадцать... Что делать? Ехать в Москву, продавать неожиданно свалившееся в наследство «заведение»?.. А кому она нужна

там через столько лет? Но и здесь, после смерти мужа, – кому? Что будет с Мери? Что будет с ними всеми, что делать, великий боже, что?..

Через неделю, ранним утром, княгиня и княжна Дадешкелиани вышли на площадь Николаевского вокзала в Москве и взяли извозчика до Петровского парка.

Анна не была в Первопрестольной больше пятнадцати лет, но она и подумать не могла, что город так изменится. Шумная, многолюдная Москва, казалось, опустела; дорогие магазины на Тверской стояли закрытыми, а некоторые – даже с заколоченными досками витринами; пропали с улиц торговцы-лоточники с бубликами, калачами, воблой, сбитнем и леденцами, и за всю дорогу от вокзала до Петровского парка княгиня не увидела ни одной бабы с пирогами. «Голод, – подумала она. – И тут голод, а газеты всё врут...»

Первой, кого Анна с дочерью встретили на Живодёрке, оказалась Дарья Дмитриева. Княгиня узнала её сразу: ни с каким другим нельзя было спутать этого большеносого, резковатого и всё же красивого лица с чуть раскосыми чёрными глазами. Даже серьги, которые были на Дарье, Анна узнала мгновенно. Длинные изумрудные «капельки», первый подарок Дашке, тогда ещё невесте, от жениха: этому украшению в своё время завидовала вся девчончья Живодёрка.

– Даша... – вполголоса окликнула её княгиня. Цыганка изумлённо оглянулась и, всплеснув руками, кинулась Анне на шею.

– Аня! Дэвлалэ, Аня! Анечка! Откуда ты, господи, откуда? В трауре, что случилось?!

– Мужа схоронила...

– Бедная... – словно не удивившись, покачала головой Дарья. – И Даная Тихоновна вот у нас тоже... Как знала, что такое светопреставление начнётся – поторопилась. Девицы-то ваши совсем без начальства растерялись... А это твоя дочь? – отстранившись от Анны, Дарья с ног до головы осмотрела Мери и, улыбнувшись, покачала головой. – Краса-а-авица княжна...

Комплимент был сказан с достоинством, без капли лести или заискивания. Мери так же непринуждённо улыбнулась в ответ, но в её широко распахнувшихся чёрных глазах загорелось истошное любопытство.

– Она знает про тебя? – коротко спросила Дарья по-цыгански. Анна, сразу же поняв, что та имеет в виду, кивнула. Цыганка улыбнулась, совсем по-молодому блеснув зубами, и взяла княжну и княгиню Дадешкелиани за руки.

– Ну, коли так, идёте в Большой дом. Наши все рады будут.

Через полчаса Анна сидела за круглым столом в зале Большого дома и, глядя по сторонам, убеждалась в том, что за пятнадцать лет здесь мало что изменилось. Тот же огромный рояль величественно высился у окна; те же диваны, сильно потрёпанные, с протёртой обивкой, стояли возле стен, и на одном из них всё так же валялась неизменная гитара с повязанным на грифе бантом. А на стене у окна по-прежнему висел портрет Дарьиной матери, написанный сорок лет назад влюбленным в солистку цыганского хора студентом-художником. Где она сейчас, подумала Анна. Кочует, верно...

Но долго размышлять о судьбе хоровой певицы, сбежавшей замуж в табор, ей не удалось: распахнулась дверь, и в зал с топотом, шумом и радостными воплями посыпались цыгане – молодые и старые. Ошеломлённой княгине показалось, что в Большой дом разом ввалилась вся Живодёрка. Анну обнимали, тормошили, расспрашивали, смеялись, размахивали руками, скалили в улыбках зубы – через мгновение у неё голова пошла кругом, и она, отвечая невпопад, едва успевала вспоминать: Федька Трофимов... Танька Дмитриева... Агаша... Сима... Тётка Таша... Молодых она, конечно, не знала никого, да и те особенно не заинтересовались ею, сразу же обступив сидящую на диване княжну. Через минуту оттуда раздался многоголосый восторженный крик, и Анна поняла: Мери с готовностью продемонстрировала свои познания в цыганском языке. А ещё через некоторое время с порога послышался дикий вопль: «Благотельница наша несказанная приехали!!!» – и в зал ворвался весь состав публичного дома

покойной тётушки. Возглавляли процессию Манька и Двойра, которые присели в глубоком книксене и вознамерились поцеловать «благодетельнице» ручку – что было встречено громким хохотом цыган. Громче всех смеялась сама Анна. Встав, она дружески обнялась с оробевшими девицами, потянула их за стол и в кольцо любопытствующих цыган начала расспрашивать о делах.

Вечером по пустой, чёрной, как сажа, без единого фонаря Живодёрке гулял ветер. Со скрипом сгибались деревья, трещали над крышей ветви старой ветлы, со стороны Петровского парка доносились пьяные вопли – а в зале Большого дома, освещённом двумя керосиновыми лампами, звенели сразу четыре гитары и надрывались полтора десятка глоток. Бешеная плясовая «Кон авэла» билась в окна, грозя вынести стёкла и взлететь над тёмным испуганным городом. В кругу, на паркете, плясала тонкая, как ивовая ветвь, красавица-цыганка лет шестнадцати с резковатым, кофейно-смуглым лицом.

– Ваша девочка? – спросила Анна Дарью, с улыбкой кивая на плясунью.

– Наша, младшая, – гордо ответила цыганка. – Динкой звать. Вот, отдали её учиться на свою голову, думали – хорошо, если хоть год-другой вытерпит в гимназии-то, а она как вцепилась! И книжки читает, и цифирь всякую знает, и по-немецки, и по-французски! Когда Яшка спохватился её забирать оттуда от греха подале, чуть не вся гимназия с директором вместе уговаривала: оставьте, мол, господу цыгане, хоть за казённый счёт, уж такая разумница, первая ученица!

– Нашла чем хвастаться, дура... – пробурчал сквозь зубы Яков. Дарья чуть заметно улыбнулась, и Анна поняла, что этот спор у них с мужем не первый.

Как раз в тот момент Дина под дружный хохот цыган бросилась к дивану и потянула за руку на середину комнаты восхищённую, смеющуюся Мери. С досадой Анна подумала, что эта цыганская выходка стара как мир: красавица-плясунья хочет посмеяться над курицей-раклёшкой, которой вовек не сплясать так же, как она. «Ну, подожди, милая...» – ехидно подумала княгиня, уже зная, что сейчас будет. И не ошиблась: Мери с готовностью, без капли смущения, с ходу попав «в музыку», кинулась плясать «венгерку». Уже через несколько тактов опешившая было молодёжь орала и била в ладоши от восторга, а взрослые цыгане, прервав на полуслове степенный разговор о конях, ценах и барышах, заинтересованно подошли ближе.

– Вот это да! Вот это – держись, Ванька! – восхищённо сказала Дарья, подавшись вперёд и не сводя глаз с княжны, упоённо выбивающей «ковырялочки» на гудящем паркете. – Дэвлалэ! Да откуда?.. Это ты её учила?! Анька! Да ты же отродясь не плясала, ты же певица была!

– Ну, кое-что знала... – пожала плечами Анна, скрывая торжество и думая о том, что Дарья права: ей самой никогда не сплясать так, как это делает сейчас дочь. А Мери самозабвенно, запрокинув сияющее лицо, по которому метались и прыгали неровные всполохи света, встряхивая выбившимися из аккуратного валика волосами, плясала на паркете, и её тёмные, широко открытые, полные света глаза блестели так, что казалось – девочка вот-вот взлетит. В какой уже раз Анне стало тревожно за неё, и она, чувствуя подступивший к сердцу холод, отвернулась к окну. И вздрогнула, когда на её плечо легла тяжёлая, горячая рука.

– Огонь девка-то у тебя, – медленно произнёс Яков, стоявший за спиной Анны, и та, взглянув в его чёрные, узкие, упорные глаза, увидела в них улыбку. – Вот уж не ждал... В хор не хочешь её отдать?

«О господи», – подумала Анна.

– Какие хоры теперь, Яша? Война кругом, революция...

– Твоя правда, – с досадой согласился Яков. – Крутимся, как угри на сковородке, а доходу – считать совестно. Не до песен господам нашим сейчас, что делать... Одно жульё в ресторанах сидит. Но ведь не навечно же это? – В голосе Якова прозвучала нескрываемая надежда, он вопросительно поглядел на Анну. – Ты-то не слыхала чего? Не собираются войну эту прокля-

тушую сворачивать? Ведь спасу нету, три года уж людей изводят... Ещё и революцию эту нам на головы выдумали, других забот словно не было!

– Не знаю, Яша, – глухо проговорила Анна, снова отворачиваясь. – Сама я теперь ничего не знаю.

Яков промолчал. Его позвали из-за дверей, он кивнул, шагнул от стола и, обернувшись, спокойно сказал:

– Ты не полошись попусту, ежели чего – завсегда поможем. Ты, как ни крути, а наша.

Анна только покачала головой, но, поймав через стол внимательный взгляд Дарьи, благодарно улыбнулась ей.

Разошлись за полночь, напевшись, наплясавшись, наговорившись до полного изнеможения. Молодую княжну увела за собой наверх Дина. Анна осталась за столом с Манькой. Лампы из экономии потушили, и коммерческий разговор шёл в полной темноте.

– Оно, конечно, ваше дело хозяйское, и наследство ваше законное, – шёпотом говорила Манька, навалившись на стол внушительной грудью. – Но я на вашем месте заведение нипочём бы не продала. Сами видите, что на свете деется, в Питере – так и вовсе столпотворение... У нас здесь, кажись, поспокойнее, но ведь кто знает, что дальше-то будет? А наше ремесло такое, что при любой власти надобно, потому мужик – он завсегда скотина, что при царе, что при временных, что при самом господе бже. Такова уж субстанция евонная. Вон, пожалуйста, – голодуха повсюду, кроме воблы, ничего и не купишь, дров и тех взять негде, а заведение каждый вечер полно! Не продавайте, Анна Николаевна, вы ведь теперь вдова горькая, а у вас дочка ещё молоденька, её кормить надо, учить, в люди выпускать. А мы всей душой и всеми средствами поможем, потому нам место дорого и идтить отседова некуда.

Анна молчала, понимая, что Манька права. Кто бы мог предполагать, что тёткино наследство, о котором она долгое время даже не вспоминала, теперь окажется её единственным спасением и надеждой поднять дочь... «Выходит, своей судьбы не миновать... – спокойно, без брезгливости подумала Анна. – Была шалавёй горничной, стала шалавёй хозяйкой. Всё же карьера...» Криво улыбнувшись этим своим мыслям, она подняла усталые глаза на Маньку.

– Спасибо тебе. Я, верно, так и сделаю. Завтра приду в заведение, всё посмотрю, поговорю со всеми, и решим, как быть. А сейчас иди спать.

Жизнь на Живодёрке пошла своим чередом. Теперь по утрам княжна вместе с Диной Дмитриевой отправлялась в женскую гимназию мадам Жаворонкиной. Старшие братья Дины были на войне. Мери с грустью думала, что ей придётся жить вместе с матерью в «заведении» – дряхлом, когда-то зелёном, а сейчас выцветшем от дождей и времени до бурого цвета двухэтажном доме, где на первом этаже находились зал с роялем и номера, а на втором располагались комнаты хозяйки. Ничуть не надеясь на успех, она робко попросила разрешения остаться в Большом доме вместе с новой подругой – и, к её безудержному восторгу, мать позволила. Мери не догадывалась, что Анне днём раньше предложила то же самое Дарья: «Зачем девочке смотреть на то, что у вас там творится? Она у тебя непорченная, хорошая... пусть лучше у нас поживёт».

Анну это царапнуло, но, понимая, что Дарья желает ей добра и что для Мери так и в самом деле будет лучше, она согласилась.

Один за другим потекли тёплые, долгие весенние дни. Впоследствии, вспоминая эту московскую весну, Мери думала, что яснее и лучше тех дней у неё ничего прежде не было. Казалось, всё проходит стороной, ничто не цепляет: ни беспорядки на грязных улицах, ни толпы галдящего, полупьяного сброда на площадных митингах, ни безразмерные очереди за хлебом и керосином, ни ужасный суп из воблы, ни перешитые из занавесок платья, ни порванные ботинки и невозможность купить новые... Молодые цыгане с Живодёрки относились к девочке-княжне дружески, радостно изумлялись тому, что она с каждым днём всё лучше и лучше говорит по-цыгански, с готовностью учили новым словам, иногда пожимали плечами:

– Для чего тебе это?

– Не знаю, – искренне отвечала Мери. – Просто нравится.

Анна, озабоченная проблемами заведения, деньгами, взятками начальству и неудобными клиентами, которых с каждым днём делалось всё больше, не особенно вникала в дела дочери и утешалась тем, что в гимназии Мери учится хорошо. Княгиня регулярно писала племяннику на фронт, но от Зураба уже больше полугода не приходило никаких известий.

– Вот бы и мне как-нибудь тоже... – вздохнула однажды Мери, сидя в комнате подруги и с нескрываемой завистью глядя на то, как Дина переодевается в вечернее платье для того, чтобы идти в ресторан. Полчаса назад оттуда прибежал мальчишка-половой с известием, что вечером ожидается большая компания вернувшихся с фронта офицеров, которые будут рады видеть цыганский хор. Цыгане, скучавшие без привычного заработка, всполошились, обрадовались, кинулись по домам переодеваться и настраивать гитары.

– «Весна не прошла, жасмин ещё цвё-ё-ёл...» – вспоминала Дина недавно выученный романс. – Что ты говоришь? Ты – с нами?!

– Да я знаю, что нельзя... Но так хотелось бы! – Мери смущённо улыбнулась, опять вздохнула.

– Глупая, там нет ничего интересного! – отрезала Дина, застёгивая последний крючок и накидывая на плечи великолепную манильскую шаль с кистями. – «Звенели соловьи-и-и на старых клё-ёнах...» Духота, вином пахнет, пьяные офицеры сидят, вилками стучат... Пошлость, и больше ничего! «Ждала я в беседке – и ты пришё-ё-ёл...»

– Но ведь ваши... поют, пляшут? – осторожно спросила Мери.

– Просто потому, что больше ничего не умеют! – дёрнула плечом Дина. – Не умеют и уметь не хотят! – Она скорчила гримасу и заговорила нараспев высоким, нарочито противным голосом: – «И зачем это ты, милая моя, дочку в гадженское место учиться засунула? Чему её там научат, кроме глупостей? Цыганское разве дело девок своих учить? Девка и под корытом вырастет!» Тьфу, ненавижу змеюк! Хорошо ещё, что мама никого не слушает! Их послушать – так и сиди всю жизнь посреди кабака, как баба на самоваре!

– А я бы, наверное, попробовала с удовольствием! – мечтательно сказала Мери.

Дина, сощурившись, посмотрела на неё и снова пожала плечами:

– Но ведь это можно, я думаю... Я сейчас попрошу отца!

– Что ты, он не позволит! – перепугалась Мери, вскакивая с кресла, но сердце в груди забухало так часто и радостно, что девушка невольно зажала его ладонью.

Дина хмуро улыбнулась.

– Вот ведь, воистину безголовая... Беги у матери просись, а я – к отцу!

Анна, услышав робкую просьбу дочери, растерялась настолько, что решительно произнесла:

– Не пушу!

– Но, мама... – безнадёжно начала Мери.

– А я повторяю – не пушу! Ты глупая девчонка! И я глупа, что так много позволяла тебе до сих пор! – Анна была сегодня не в духе: ещё утром она отправилась пешком, жалея денег на извозчика, на другой конец города, в Таганку, где, как ей сказали, можно задёшево купить огромные отрезы креп-жоржета и ещё довоенного муара. Но креп-жоржета с муаром ей не досталось, а удалось добыть только огромную старую бархатную портьеру, которой, впрочем, при правильном раскрое вполне могло хватить на платье. Анна как раз стояла над портьерой с ножницами в руках и соображала, как лучше приступить к делу, когда в комнату с безумными глазами и такой же безумной просьбой ворвалось её неуёмное дитя.

– Ты сама не понимаешь, о чём просишь! А всё Дина! Она морочит тебе голову, а ты слушаешь, потому что никогда этой ресторанной жизни не пробовала! А я пробовала! Я знаю! Уж поверь мне, я знаю, что такое мужчины после трёх бокалов вина! Цыганки с младенчества

возьятся во всём этом – и пусть возьятся, так им бог велел, но ты княжна Дадешкелиани! И я никогда... – Анна осеклась на полуслове, только сейчас заметив, что в дверях залы стоит Дарья – уже одетая для выхода в ресторан в своё чёрное шёлковое платье и с перекинутой через плечо шалью. Её лицо было, как всегда, невозмутимым.

– Не плачь, девочка, – спокойно сказала она Мери, по щекам которой уже бежали слёзы. – Анна Николаевна, а ты бы её отпустила всё-таки с нами-то. Какой тебе убыток? Посидит с нашими девками, и больше ничего, клянусь тебе! Ежели господа чего позволять себе начнут – так я её вместе со своей Динкой через задний ход домой отправлю. Напрочь ты запомнила, что ли, как это делается? – Дарья вдруг широко улыбнулась, блеснув с тёмного лица ослепительно-белыми зубами, и снова словно помолодела на несколько лет. Мери, забыв вытереть слёзы, восхищённо смотрела на неё. Невольно улыбнулась и Анна.

– Дашка, но только если ты отвечаешь...

– Головой отвечаю, изумрудная! – как можно серьёзнее кивнула Дарья. – Уж не бойся, не украдут цыгане красавицу твою!

Тут уж Анна не выдержала и расхохоталась. Мери, не помня себя от счастья, кинулась одеваться.

Дина предложила на выбор несколько своих платьев, но все они оказались малы: Мери была покрепче подруги и шире в плечах.

– Право, не знаю, что делать... – огорчилась Дина. – Ну, можно к соседям сбегать, там у них Дунька – такая лошадь, что...

– Не надо, не надо, я знаю, что делать! – Мери кинулась к комоду и принялась выкидывать из него какие-то тряпки, попутно кинув Дине: – Закрой глаза!

Та послушно зажмурилась и некоторое время сидела так, пока не услышала весёлый голос подруги:

– А теперь смотри!

Дина открыла глаза. Ахнув, поднесла руки ко рту – и расхохоталась так, что из глаз у неё брызнули слёзы.

– Что – дурно? – обескураженно спросила Мери.

Она стояла у кровати в красной юбке с большими цветами и жёлтой кофте с широкими сборчатыми рукавами. Косы Мери покрывал лихо повязанный платок с нашитыми на него спереди мелкими серебряными монетами, в своё время старательно и любовно споротыми со старинного женского бешмета, принадлежавшего когда-то бабушке Тамар. Этот наряд был сшит Мери собственноручно месяц назад – после того, как она целый день проходила по городу вслед за крикливой толпой цыганок-котлярок, разглядывая их юбки в оборках и кофты с широкими рукавами. В довершение ко всему из-под юбки выглядывали босые ноги.

– Мери... Меришка... Ой, милая моя... – заливалась Дина, навзничь повалившись на постель. – Нет, нет, хорошо всё, вовсе как наши, но... но ты же совсем как болгарка дикая – босиком... И в ресторан так пойдёшь?!

– Чему ты смеёшься? Это неприлично? Глупо? Не принято? – допытывалась Мери. – Я подумала, что коли уж я сегодня цыганка, то и выглядеть должна как цыганка...

– Да ты и есть форменная цыганка! – отсмеявшись, заверила Дина. – Но туфли-то обуй, не в чистом поле всё-таки... Девки наши со смеху помрут!

Мери вздохнула и с неохотой начала обуваться.

Цыгане ждали во дворе. Когда Мери и Дина спустились с крыльца, пронёсся единый вздох изумления, кто-то из цыганок откровенно засмеялся, осторожно улыбнулись молодые парни, одобрительно – Дарья. Яков посмотрел на дочь, на бледную от испуга Мери, снова на Дину, крикнул, пожал плечами... и, отвернувшись от девушек, сердито прикрикнул на цыган:

– Что присохли? Идите! Уж в кои-то веки заработать можно – они и то не чешутся, дармоеды...

Вскоре толпа цыган быстро шагала вниз по Живодёрке к Большой Грузинской.

Были времена, когда ресторан Осетрова в Грузинах гремел на всю Москву. О цыганских концертах писали газеты, знаменитые художники и поэты искали дружбы хоровых солистов, здесь прожигала свои ночи московская знать, купцы швыряли миллионы под ноги плясуньям. В ресторане Осетрова пропадали состояния, дарились певицам бриллиантовые перстни, завязывались страстные романы, о которых больно и сладко было вспоминать много-много лет спустя, на закате жизни. Теперь известный всему городу ресторан медленно, печально угасал. Прежний хозяин недавно умер, успев перед смертью продать своё заведение какому-то заезжему коммерсанту, его трудную фамилию москвичи так и не смогли запомнить, по старой памяти называя ресторан «осетровским». Сверкающие когда-то зеркальные двери тускло поблёскивали сквозь пыльные разводы, одно стекло и вовсе было выбито, и дыру загораживал щелястый кусок доски. Внутри неярко горели свечи, народу оказалось мало, но компания офицеров – большая, человек двенадцать, – собралась за тремя сдвинутыми столиками, и вокруг них суетились официанты. Когда цыганский хор вышел на своё привычное место, где стояли полукругом полтора десятка стульев, и солистки начали рассаживаться на них, офицеры радостно зашумели. Все они были очень молоды. На двух-трёх и вовсе красовалась форма Александровского училища со Знаменки. Остальные оказались в форме пехотных и кавалерийских войск, и не столько по ней, сколько по неуловимой тени на усталых, сумрачных лицах было очевидно, что офицеры действительно приехали с фронта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.